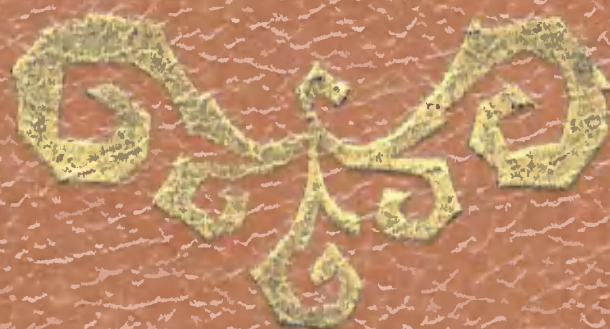
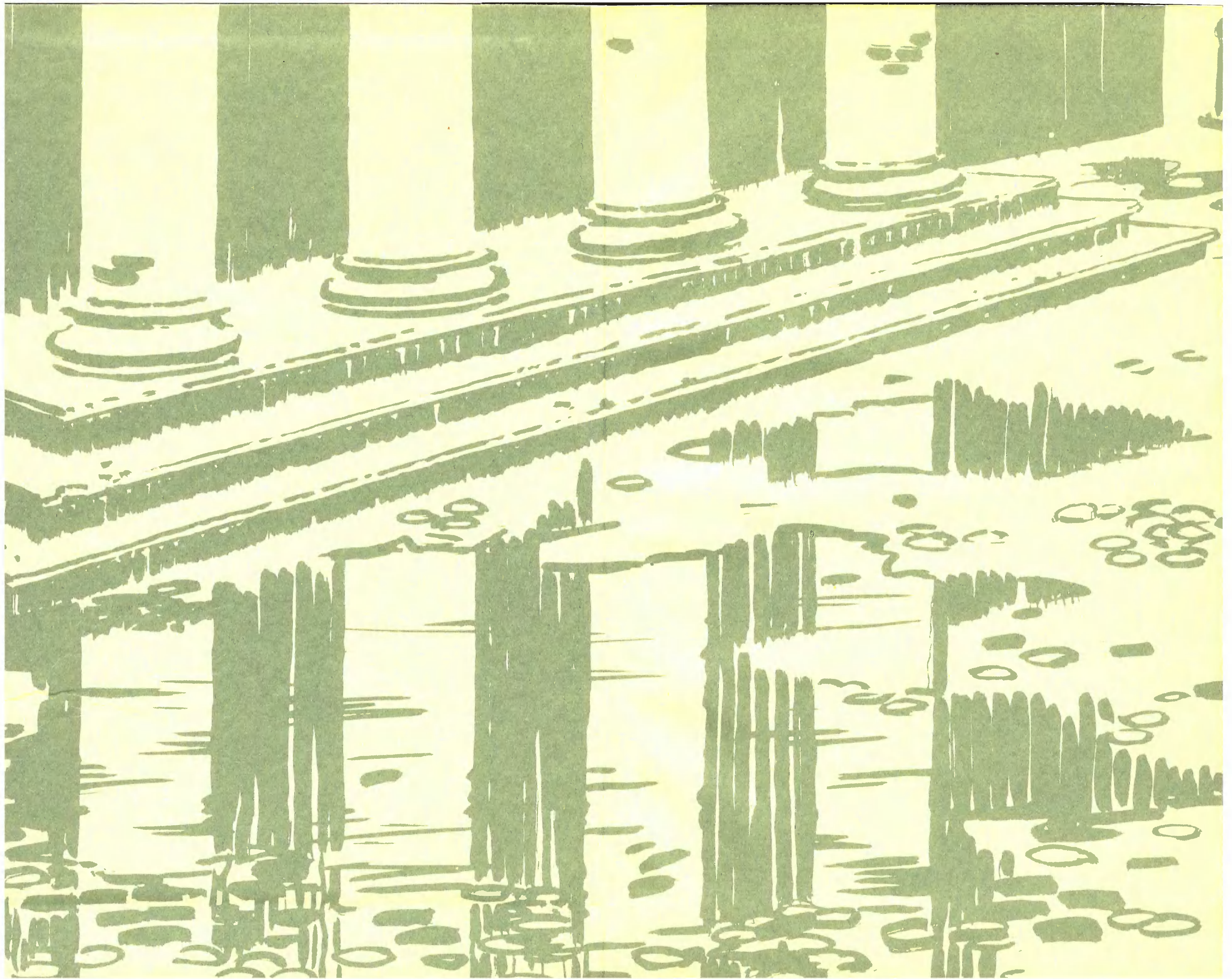


ВЛАДИМИР ШУРУПОВ



**РАССКАЗЫ
ПРОВИНЦИАЛЬНОГО
АКТЕРА**





ВЛАДИМИР ШУРУПОВ

**РАССКАЗЫ
ПРОВИНЦИАЛЬНОГО
АКТЕРА**



МОСКВА
«СОВРЕМЕНИК»
1989

ББК 84Р7
Ш96

Рецензент *Ю. Додолев*

III $\frac{4702010200-213}{M106(03)-89}$ —101—89

ISBN 5—270—00441—0

© Издательство «Современник» 1989

НА ОЗЕРЕ ТАВАТУЙ

Была ночь, и уличные фонари местного производства, напоминающие по форме кастрюли, подвешенные вверх дном к длинным крошечным на деревянных столбах, бросали на мостовую ровные светлые круги.

«Год назад спутник запустили, чудо двадцатого века, — подумал Андрей, — а тут, в этом городишке, еще времена братьев Черепановых...»

Повсюду лежал иней — на деревьях, на домах, на траве, уже пожухшей, но еще не припавшей к земле — невообразимый иней, крупный, пушистый, словно выпавший ночью снег. Казалось, одно дуновение ветра — и он обсыпется тонкими звенящими иглами на асфальт, сверкающий кристаллами, будто посыпанный солью.

«И это — конец сентября, — размышлял Андрей, — что же будет зимой? И такое творится в городе, а каково там, на озере?»

Холод быстро прохватывал тело, находя щели в одежде, пощипывал руки, шею, лицо.

Настроение, и без того невеселое, испортилось вконец, пропало первое восхищение — иней не только красивый наряд зимы, но и прямое следствие холода. Зябко передергивая плечами, Андрей пошел быстрее, ругая себя за легкомыслие, с каким согласился на предложение малознакомого Егора Седова.

Оправдывал себя только тем, что согласился именно из-за невеселого настроения, считая: раз хуже некуда, так почему бы не добавить к этому сомнительную ночную вылазку на охоту?

Две недели, как он — актер музыкально-драматического театра, областного театра города N на Среднем Урале.

На весеннем распределении в институте неожиданностей почти не было, кроме одной — Андрей Рык по собственному желанию ехал работать в провинцию, отказавшись от предложения московского театра.

Отказался от столичного театра!

Сейчас в такое поверить трудно, но тогда его решение хоть и удивило, но не очень, потому что слово «романтика» было нормальным понятием, без иронических кавычек.

Кроме того, никто не знал, что в его решении есть здравый смысл — жить большой семьей из восьми человек в одной комнате коммунальной квартиры, конечно, можно, но не сладко.

Темпераментный человек, приехавший «вербовать» в дальний город, так расписывал репертуар театра и голод по таким, как он, Андрей, молодым актерам, что Рыку стало ясно — не ехать глухо! Поработает несколько лет в провинции, научится ходить по настоящей сцене, а там можно будет и в златоглавую вернуться.

— Наш будущий герой! — говорил «вербовщик» и крепко хлопал Андрея по спине. Человек заразительно смеялся. Андрей ходил с гордо поднятой головой, хотя бы потому, что твердо решил ехать в такую даль. Еще двое его однокурсников поговаривали об этом, но, когда дело дошло до распределения, оказалось, что только он один верен слову, и только его письменное заявление лежит в деканате.

Немалую роль в его решении ехать прочь из Москвы сыграло и то, что человек с Урала на вопрос Рыка: «А охота у вас есть?» только присвистнул — «Охотник? Где охотился?» — «В Подмосковье!»

Человек чуть не закричал от радости:

— Милый! Ты едешь в охотничий рай, люди деньги должны платить, чтобы съездить туда на охоту, а ты там будешь все время...

— Ну, не все! — резонно возразил Андрей.

— Года три-то будешь? — уточнил человек и добавил: — А ты случайно не рыбак? Рыбалка у нас...

И соблазнитель закатил глаза.

— Нет, не рыбак... — ответил Андрей.

В начале сентября приехал Андрей в первый в своей жизни театр, рассчитывая на восторженный прием, на адскую круглосуточную работу, на однокомнатную квартиру, на список ролей, что предстоит ему сыграть в ближайшее время...

Все расчеты полетели кувырком в первый же день.

Ему нужны были деньги, хоть какие-нибудь деньги. Оказалось — не раньше, чем через полмесяца. Пришлось срочно давать сестре телеграмму грустно-иронического содержания:

«Позавтракал обедать буду на твои если вышлешь Андрей».

Это была правда.

На вопрос о ролях, он получил твердый ответ — будут!

Когда и какие — дирекции представлялось не столь существенным.

Квартирный вопрос поверг его в полное отчаяние — он так и остался вопросом: получит комнату... через полгода, а пока будет жить в гостинице...

— Очень удобно! — убеждал директор, сверкая золотыми зубами. — Гостиница рядом с театром, готовить самому не надо, всегда покормят... Там толковые девушки, — подмигнул он, — любят театр и вашего брата...

Андрей пытался сострить, что он приехал один и у него нет брата вообще, но директор, рассмеявшись, хлопнул его по спине и хитро добавил:

— За свет, за газ, за квартиру платить не надо... Всё мы оплачиваем. Всё мы... — широко взмахнул он рукой, утверждая свою щедрость.

Андрей подумал, что в этом городе все любят похлопывать друг друга по спине, но подумал с грустью: того человека, который в Москве соблазнил его, простыл и след, так что даже жаловаться было некому, тем более некого было в ответ хлопнуть по спине!

Бродя по коридорам театра, знакомясь с труппой, Андрей был поражен: в театре были только взрослые актеры! Его возраста, двадцати с хвостиком, набралось человек пять, и только при балетной труппе оперетты — ребята, пришедшие из уральской самодеятельности! Остальные — взрослые! После института это сбивало с толку, он не мог найти нужной тон в разговоре и первые дни казался мрачным и нелюдимым, еще не зная, что в театре каждый шаг на виду, и режиссеры и дирекция присматриваются к тебе даже тогда, когда, кажется, не обращают на тебя внимания — на что сгодится этот неоперившийся, несложившийся, да еще не растерявший столичной бравады?!

Вероятно, смотрины прошли успешно, потому что через несколько месяцев Андрей с трудом успевал с репетиции на репетицию и стал мечтать, чтобы в ближайшей постановке он не был занят, но то было через несколько месяцев, показавшихся годами, а пока...

Некоторые имена он уже запомнил и, когда к нему подошел щупленький, очкастый мужичок, Андрей вопроси-

тельно взглянул на него — этого «мужичка» он еще не знал..

— Давай знакомиться! — сказал подошедший и протянул широкую ладонь.— Егор Седов.

«Наверное, кто-то из рабочих сцены»,— подумал Андрей, так не вязалась внешность говорящего с причастностью к актерской братии.

— Андрей...— и он замолчал, не зная, что говорить, не зная, как говорить.

— В какой примерной дали столик? — спросил Егор.

— В конце коридора...

— Значит соседи... Идем туда...

«Чуть не вляпался! — ужаснулся Андрей, помня обидчивость своих однокурсников, когда на улице их принимали за кого угодно, только не за представителей племени волшебников: он же — Актер! Ну, дела! Что же он может играть с такой внешностью?»

Внешность действительно была не броской — щупленький, только руки и ноги крупные, ботинки носил сорок пятого размера и ходил странно, ходил, как дети, когда они подражают взрослым и идут, растягивая шаг и твердо печатая подошву об пол.

На его носу, узком и остром, сидели очки в тонкой металлической оправе, судя по вынуклости стекол — с большой диоптрией. Глаз из-за этих стекол не было видно.

В примерной их столики оказались рядом.

Егор бесцеремонно, но коротко выспросил у Андрея: сколько лет? Откуда родом? Надолго ли? И главное:

— Случайно, не охотник?

— Не случайно — охотник! Отец с десяти брал на охоту... Под Можайском...

— Ружье взял?

— О чем разговор?

— Что у тебя?

— «Лефаше».

— Не знаю,— пожал он плечами,— посмотрим...

— Французское, дамасские стволы, удлиненное, вес полтора кг.

— Дамское?

— Может быть, но дальнобойное.

— Хорошо. Посмотрим. Идешь со мной?

— Когда?

— Завтра. На пристани в два буду ждать. Второй

причал. Поидем на лодке по озерам, а там дальше — погамн... Жду...

«Ничего себе, охотник!» — подумал Андрей, глядя вслед размашисто уходящему Егору, вспоминая его выпуклые очки.

И еще он пожалел, что не спросил, как называть его: по имени или по имени-отчеству, судя по внешности ему было далеко за тридцать, а в возрасте Андрея такие разрывы казались непреодолимыми временем.

Гостиница была рядом с театром и, бродя вокруг массивного здания, Андрей изучил дорогу во все точки небольшого города.

Дорогу к озеру он тоже знал: достаточно сразу за театром подняться в гору, перевалить ее и дальше вниз — прямой путь через железнодорожное полотно узкой каменной тропой между валунов и редких сосен.

Егор еще говорил, чтоб одевался теплее, поэтому Андрей выпросил в костюмерной потертый ватник. Свитер, рюкзак, сапоги приготовил заранее, поставил будильник и не успел, казалось, прилечь, как будильник поднял его...

Он шел все быстрее, стараясь согреться, и проклинал себя в который уже раз за легкомыслие: согласился, хотя позвал его малознакомый и на вид малопрятный человек, да еще добираться до места охоты несколько часов, да еще погода!

Все было незнакомо — и город, и люди, и климат!

Через полчаса быстрой ходьбы и невеселых размышлений Андрей спустился по невзрачной тропе вниз к озеру, к лодочной станции.

Наверху увала, где он только что был, дул резкий ветер, и это нагнало еще большее уныние. Даже такое примитивное украшение, как ишей, и то обманчиво в этом городе — внизу, как на новогодней елке, а на продувном увале, где только что он был, — ни искринки!

Холодные огромные валуны, каменная тропа под ногами, чахлая жесткая трава, каменные проплешины с худосочными соснами — вот и все украшение знаменитого Урала.

Возвращаться не хотелось, потому что холод и раздражение так взбаламутили его, что сна и в помине не было, да и гостиница не казалась райским уголком, куда тянет возвратиться — его номер был чист, пуст и неуютен.

Еще наверху, на увале, он услышал тихое позванивание, но не понял, что это, и только спустившись, разгадал, что

в ясной морозной ночи так далеко слышны переговоры цепей, держащих лодки у пристани.

Подойдя ближе, он расслышал и хлюпанье воды под днищами приподнятых носов широченных плоскодонных лодок. Даже эти звуки, негромкие и однообразные, углубляли его недовольство собой и всем миром, и никак не вдохновляли на охоту.

Он пошел вдоль берега.

Лодки иногда покачивались, причмокивая днищами, и от этого казались живыми, дремлющими животными, волны водили их из стороны в сторону, и тогда они, словно во сне, ворочались, будто вздыхали, устраиваясь поудобнее в подвижной постели.

Вода была холодной и тяжелой на вид, иней исчез, обнажив корявую каменистую почву и неказистость тощих сосен. Сильно жалел Андрей, что согласился идти на охоту: все вокруг непривычно, некрасиво, неуютно.

Озеро вдавалось в берег у железной дороги ровным и широким полукругом, образуя удобную бухту.

Эту бухту пересекали два настила — деревянные длинные мостки на сваях уходили далеко от берега, а к ним, как поросята к матке, прицепились лодки. Их было много. Дальше, в стороне от причалов, на чистой воде стояли катера на якорях, зачехленные, молчаливые, сумрачные...

Вокруг тихо и пустынно, и только на одном из причалов шевелился человек — Егор Седов.

Он сидел на корточках и возился с мотором при свете тусклой, одинокой лампочки, торчащей на столбе, между двумя причалами. Его свечение было условным — неяркой точкой в темноте, чтобы можно было отыскать стоянку лодок.

Седов молча протянул руку Андрею, и тот понял, что ему не надо мешать, и поэтому прошел вперед по настилу, к непроглядной тьме озера.

Холодные, редкие, мощные вздохи ветра заставляли его поеживаться и самыми не лестными словами оценивать свое согласие на участие в этой охоте, которая в самом деле оказалась — «пуще неволи»!

Андрей вернулся к Седову, когда тот подвесил мотор к лодке и стал колдовать над ним.

На широченной и неуклюжей на вид корме, мотор был так мал и неказист, что казалось немыслимым ему, маленькому чудику из железа, тащить по хмурому озеру огромное плоское деревянное сооружение.

Егор молча вылез на причал, молча достал сигареты и все так же молча протянул пачку Андрею. Сигареты у него были половинные, в узкой упаковке — сейчас такие не выпускают.

Андрей стал было отказываться, потом согласился и начал неумело прилаживать куцый огрызок к губам.

Егор вставил сигарету в самодельный мундштук, порылся в кармане и предложил Андрею пластмассовый, «покушной».

Наконец он стал складывать в лодку рюкзаки, брезент, какие-то тряпки, что лежали у него под ногами. Покончив с этим, легко шагнул в лодку и придержался за край причала, потому что ее стало отводить в сторону.

Но стоило Андрею переступить невысокий борт, лодка так закачалась, что он чуть не вывалился: упав на колени, стукнулся о скамейку, тут же вскинул голову в сторону Егора, готовый что-то сказать...

Седов опередил его:

— С непривычки все так!

Тон был успокаивающий.

Из причального лабиринта они выбирались на веслах, неуклюжих и тяжелых. Лодка трудно слушалась, приходилось руками отталкивать «соседей», которые пытались увязаться за ними, притираясь бортами, жалобно позванивая.

Андрей не сумел сделать и двух гребков — весла цеплялись за причал, и Седов сам стал выводить свое сооружение в сторону от берега.

— После острова пойдём на моторе! — утешил он Андрея, — прямо-таки побежим, а не пойдём...

Причал кончился, но никакого острова впереди не виделось.

— А почему только после острова?

— Ночью по озеру за сто верст слышно, когда ветра нет... Вода-то скользкая, вот по ней звуки и бегают, — неожиданно тихо рассмеялся Егор. — А город рядом, — продолжал он, — людишек легко разбудить... А зачем их будить?

— Запрещают, что ли? — резко спросил Андрей.

Непривычность ощущений, холод и тьма — все угнетало его, да и сам Егор раздражал, пожалуй, более всего замедленностью речи, будто говорит человек сам с собой.

Но Седов не ответил.

— А где остров? — спросил Андрей, молчать ему было невозможно.

— Там.

Егор неопределенно кивнул куда-то вперед, где нельзя было различить не только сам остров, но даже гладь черной воды: там впереди, куда не доставал свет береговой лампочки, вода не отблескивала.

Андрей не долго сидел молча. Опять заворочался:

— А почему мы только вдвоем?

Ему казалось, что он умело скрывает неприязнь и невесть откуда взявшуюся обиду естественностью и незаинтересованностью голоса, эдакой нейтральностью — «просто спрашиваю!»

— А кто тебе нужен? — не сразу ответил Седов.

— Вообще... — неопределенно протянул Андрей.

— В театре мало охотников. Да и много людей на охоте — плохо... Суеты много...

Он бросил весла, лодка скользила по инерции, сам опять закурил, минуты две спустя закончил:

— Вдвоем спокойнее.

— Так одному — совсем хорошо... — съязвил Рык.

— Плохо, — коротко ответил охотник и пояснил: — Одному плохо — помочь некому, если что...

Тихая, вальяжная охота в Подмосковье не сулила опасностей, и воспоминания не подсказывали Андрею, что значит «помочь, если что...»

Егор определенно не правился Рыку, но он себя успокаивал тем, что на охоте вовсе не обязательно дружески общаться: приличная дистанция, побольше ружейного выстрела, даже необходима.

Наконец Седов убрал весла в лодку, положив их вдоль бортов, намотал на макушку мотора кожаный ремешок, дернул его, мотор сразу завелся, и лодка пошла, переваливаясь с боку на бок, как тяжелая гусыня, пока не успокоилась на скорости, выровнялась и заскользила в темный простор ночи и неба.

— Озеро большое? — поинтересовался Андрей.

— Порядочное... *

Егор говорил медленно, с большими паузами, но странным образом эти паузы делали каждое его слово весомее, будто возвращали ему первоначальный объемный смысл, стершийся в нашей скороговорной современной речи.

Не поясняя ничего, он продолжал говорить спустя минуту, а то и две, с того слова, где остановился.

— Километров пятнадцать. Оно соединено протокой с другим — Таватуй. Озеро Ветров. Серьезное. Туда путь держим.

Опять молчание и новый вопрос:

— А как это называется?

— Никак. Искусственное, в каждой деревне — по-своему зовут. В городе — называют «наше» Официальных имен нету.

— Как это — искусственное?

— Запруду на малой речке поставили — вот и озеро.. С Таватуем соединилось.

Через паузу добавил:

— Демидовская запруда!

— Не может быть! — удивился Андрей.

— Демидовская.

— Еще тех?

— Тех. Старая запруда.

— Почти триста лет? — быстро подсчитал Рык.— Да этого просто быть не может.

— Может и не Демидовская. Но старая... Работает.

Стрекочущий звук мотора уходил куда-то в сторону невидимых берегов и не возвращался эхом, глух там, оттого казался негромким и неясным.

Из-за их спи, со стороны города, из-за увалов, закрывших город, сразу и сильно брызнули первые лучи солнца.

Занятый разговором с напарником Андрей пропустил момент перед рассветом, или еще не умел его улавливать, и теперь чуть не вскрикнул, так неожиданно изменилось все вокруг.

Лучи ударили по озеру, и глаза человека, беспомощные ночью и в затаенности рассвета, не замеченного им, стали зрячими.

Это не было похоже ни на что виденное прежде: спала серая густая пелена и проявились чистые, яростные, без всяких примесей, краски...

Голубые, бордовые, золотые, зеленые...

Стали видны берега... Берега черные и синие, и, что вовсе казалось немыслимым, — розовые!

Небо словно взметнулось и уходило все выше и выше, пока не исчезло совсем — ни одного облачка, ни даже перьев высотных! — чистое и бесконечное, не голубое, не серое — просто его не было!

Егор уверенно вел лодку в темноте, а теперь она как

бы сама выбирала кратчайшие пути от острова к острову — их было много! — в сторону протоки в озеро Тава-туй, к заманчивому великому Озеру Ветров!

Андрей забыл о напускной солидности, придуманной им себе с первого дня прихода в театр, стал вертеться в лодке, раскачивая ее, вскрикивал, что-то говорил своему напарнику, показывая то одно яркое пятно, то другое, отчего стал вполне похож на двадцатидвухлетнего восторженного человека, удравшего из Москвы за две тысячи верст — за тридевять земель! — чтобы научиться «ходить по сцене».

Позднее Андрей научился вбирать красоту озера и чередование увалов и впадин рассудительно и покойно, не суетясь и не суетясь, как бы откладывая про запас. Но в тот первый день охоты ему казалось, что он должен быть противен Егору своими причитаниями, восторгами, которые к лицу необстрелянному первокурснику, не умеющему владеть своими чувствами, но уж никак не выпускнику, но ничего поделать с собой не мог.

То, что два часа назад вызывало в нем неудовольствие, теперь стало казаться естественным и необходимым преддверием к этому празднику: он начинал понимать, ради чего можно встать ночью или вовсе не ложиться, чертыхаясь одеваться в тяжелые охотничьи доспехи, бежать по замерзшему пустому городу ко второму причалу на пристани.

Даже ледяная вода, обжигающая опущенные в нее ладони, была единственной, неповторимой, до той поры невиданной...

— Егор! — кричал он в тишине, именно в тишине, потому что стрекот мотора, тихий и ненавязчивый, давно стал привычным, и ухо выключило его из сознания, как выключается тиканье часов, когда к нему привыкают. — Егор! — кричал он и наклонялся к воде, пытаясь уловить эхо хотя бы своего голоса.

Седов сосредоточенно молчал.

Андрей ликовавал:

— Когда я ночью шел по городу, был иней — была зима! Понимаешь? Иней-то, как снег январский! Просто зима! А сейчас? Да что же это такое? Сейчас — осень! Роскошная осень, золотая осень! Ночью — зима, утром осень. Все наоборот...

— Днем лето будет, — спокойно сказал Егор.

И днем было лето — жаркое, ватник казался тяжелым

и пынувшим паром, пришлось его снять и спрятать в рюкзак. Только не было того травяного настоя, что бывает в июле, но воздух был прозрачный и чистый, даже у самых дальних гор не было дымки...

Но это было позже.

Егор сказал, что сегодня хороший ветер.

— Чем хороший?

— Восточный.

— Какая разница?

— Рядом с протокой, в Таватуе есть небольшой остров. Плавающий. Слышал о таких?

— Не видел ни разу...

— Увидишь. Когда восточный, остров отходит от протоки, и вход в Таватуй — чистый. Когда западный — хапа! Метров двести остров длиной... Закупоривает протоку, как пробкой. Пробраться — только волоком. А моя посудина легка на воде, на земле — тяжелее слона... Да и покров не сильно крепок — сросшаяся трава! — хлинок, качливо... По колено в воде тащить приходится... Так что хороший ветер — восточный...

Заливы Озера Ветров удобны для стоянки лодок — плоскодонка легко вылетела широким носом на пологий песчаный берег и уперлась в корни берез, оголенные талой водой и осенними штормами.

Как бы ступенькой от этого песчаного берега начинался плоский каменистый.

Недалеко от берега — опушка редкого березового леса и только дальше, за ней, берег начинал изгибаться вверх к первому увалу.

За ним можно было угадать виадну, потом еще выше виделся следующий увал и так все дальше, и все выше поднимались уральские старые горы, размеженные виадинами и высохшими болотами.

Егор потолкал лодку ногой, кинул носовую цепь на корни берез, не закрывая ее замком, накрыл мотор брезентом, достал ружья и рюкзаки и молча пошел прочь от воды.

На недоуменные вопросы Андрея он объяснил — замок не нужен, еще не было случая, чтобы угнали лодку или сняли мотор. Андрею пришлось по душе правы местных жителей.

Не зная правил охоты Седова, Андрей старался все принимать как должное, меньше задавать вопросов, чтобы не выглядеть так глупо, как полчаса назад.

С непривычки москвич быстро устал, подъемы давались с трудом, с еще большим — спуски. Колени начали предательски подрагивать.

Они спускались в ложбины, взбирались по каменистым осыням — мелкие камни выскальзывали из-под ног и ноги пробуксовывали. Перепрыгивали через ручьи, бегущие к озеру, — их было множество! — и, наконец, забрались на самый высокий увал, с него было видно далеко вокруг.

Егор вышел точно к нему, не плутая и не озираясь по сторонам в поисках примет.

Вершина была плоской, как стол, без единого куста и дерева, не было и травы — огромные валуны, словно придавленные куски теста, плотно привалившиеся друг к другу, вздымались над широкой и плоской впадиной, покрытой карликовыми соснами с кривыми стволами, с трудом выросшими на скудном высохшем болоте.

Сверху эти карлики казались кустами, ровными в своей курчавости и окраске, поэтому легко выдавали, даже неопытному глазу, все постороннее среди них.

Андрей сразу разглядел огромную стаю черных птиц, занявшую вершины карликов и образовавшую почти правильный овал.

— Смотри, Егор, смотри вон туда, — радостно закричал он, гордый, что первый увидел такое скопление птиц, — смотри туда, да нет, правее, там грачи!

— Где грачи? — подивился Егор.

Седов протирал очки, привинчивал к стеклам, вернее к дужкам очков дополнительное приспособление. Он поднялся на увал позже. Андрей опередил его.

Седов молча поднял ружье и выстрелил в воздух.

Эхо долго дробилось по увалам, его интонации, почти не поврежденные, гонялись друг за другом и медленно затихали, а стая снялась и ровным стремительным лётom ушла к горизонту и растворилась, растаяла, как эхо.

— Хороши грачи! — засмеялся Егор. — Грачи летают размашисто и тяжело, летают неровно — так стремительно как эта стая, могли уйти только косачи, как их зовут на Урале. В Подмосковье они проживают под именем тетеревов.

«Стая тетеревов штук в двести, — подумал Андрей, — зрелище оскорбительное для охотника из Подмосковья, которому за весь сезон попадается один-два»

— А теперь — пошли, и гляди в оба! — сказал Егор. — Тут их великое множество.

Он объяснил, что косач сидит крепко, даже близкий выстрел его не поднимает: не взлетит, пока ты на него не наткнешься, чуть ли на хвост не наступишь. Крепко сидит.

Совсем некстати, как показалось Андрею, Седов добавил:

— Только береги патроны. Бей наверняка.

Имея в рюкзаках по две сотни набитых патронов, да еще в запасе --- порох и дробь, чего же их беречь?

«А Седов-то жадный!» — подумал Андрей, пока умевший судить людей только скоро и категорично.

Небогатырская внешность не предполагала в Егоре выносливости и ходкости, но через два часа, таская панарника по увалам и впадинам, по высохшим болотам, Седов загнал Андрея в пот. Колени новичка дрожали, спину ломало, а Егор продолжал, как ни в чем не бывало, отмеривать худыми ногами, что болтались в широких голенищах сапог, все новые и новые метры, дыхание его не стало менее ровным, чем в лодке, когда он сидел на руле.

Время от времени он доставал пачку сигарет с дразнящим названием «Южные» вставлял одну из них в мундштук и, поныхивая синим дымком, устремлялся все дальше.

«Тоже мне, Дерсу Узала!» — проворчал Андрей.

Косачи срывались слева и справа, спереди и сзади, каждый куст в любой миг мог взорваться, и яростное хлопанье крыльев разбивало тишину сентябрьского леса. Постоянное ожидание и все-таки неожиданность взлетов здорово изматывали.

В начале охоты Андрей налил, сотрясая воздух, почти по каждому косачу, где бы он ни привиделся, даже если мелькнул неясной тенью за плотными кустами, но видя, что Седов за это время, идя по склону метрах в двухстах в стороне, много раз прицеливаясь, ни разу не выстрелил, решил поубавить пыл, не преминув проворчать про себя: «Береги, не береги — результат одинаков: оба пустые... Хоть бы душу отвел, скупердяй!» — думал Андрей.

Наконец Седов объявил:

— Привал!

Гордясь умением, обретенным в Подмосковье, Рык быстро — с одной спички! — развел костер. Егор не оценил это, взяв с концентратом каши, или принял как должное. Побродив по ближайшим кустам, он нарвал листьев дикой смородины для чая.

Егор делал все ладно и неторопливо, но изрядно надоел напарнику правоучениями. Вновь повторил о патронах:

— Надо беречь!

— Жалко, что ли? — вяло огрызнулся Андрей.

— Жалко. И патроны, и птиц. Бить надо только наверняка — иначе подранков оставишь... Без собаки — не сыщешь...

Даже жалость к подранкам не примирила Андрея с ним.

Ему казалось, что не видит Егор ничего, кроме взлетающих перьев будущего жаркого и круглой мушки своей двустволки, не видит всего того, что видит он, пронзенный, потрясенный этим чудом — уральскими россыпями красок и света и точеной формой лирохвостых косачей.

Снисходительность к напарнику изливалась незримым потоком на Егора Седова, не ведавшего этого и потому спокойно хлопотавшего над нехитрым обедом.

«Он несимпатичен! — решил про себя Андрей, — как только найду другого напарника, местного и тоже с лодкой, Седов не будет в той компании, где я буду не только охотиться, но и...»

И так далее. Пожалуй, такие мысли знакомы всем, кто был в подобной ситуации в двадцать два года.

После обеда Андрей вовсе сдал: стал жаловаться Егору на усталость, на то, что с непривычки эти каменюги выдерживают ему ноги, словом, самым разумным будет отправиться домой, тем более, не известно, сможет ли добраться до лодки, для большей убедительности добавил он.

Седов молча кивнул, собрал все, что было разбросано на привале, притушил костер, полдороги к лодке молчал, полдороги поругивался.

«Таскать пустые рюкзаки можно и по городу, незачем было переться в такую даль...» — таков был общий смысл его рассуждений.

Так же мрачно и ворчливо заявил, что завтра он своего не упустит. Андрей принял это как приглашение и наотрез отказался.

Набежала серая дымка дня и скрыла утреннее буйство красок.

Андрею было зябко и тоскливо.

Усталось корежила тело, угнетали невеселые мысли о гостиничном номере, что стал его домом на ближайшее время, о своей родной и такой далекой Москве, о сумасбродном климате Урала, о душевной скудости коллег, один из которых уже проявил себя...

В уютном номере он сладко отоспался, ноги забыли о предательской дрожи, в столовой официантки накормили вкусно и недорого, и были по-домашнему добры и приветливы.

К вечернему спектаклю он пришел в театр — «потолкаться»! — поговорить, послушать — словом, убить время!

Он видел, как Егор прошел в свою гримерную, и что-то встряхнуло Андрея, то ли утреннее чудо, то ли мысль о завтрашнем дне, когда он будет до полудня валяться в номере или неприкаянно шляться по коридорам театра.

Он прошел следом за Егором и, неожиданно для себя, попросил взять его опять на охоту.

— Так я же звал уже? — удивился Седов.

— Опять в два?

— Рано? Давай чуть позже.

— Нормально. Там же?

— Второй причал! — лаконично закончил Седов, и не понять было, рад он напарнику или просто вежлив и не отказывает в просьбе.

«Слава богу, не злопамятен!» — подумал Андрей.

Рассвет он встретил на носу лодки посреди озера.

За вчерашний день Андрей свыкся с разноцветьем воды и берегов, далеких и плоских по краям озера, пришла пора разглядеть острова.

Их было много. Словно граненые стаканы темного стекла, с неровными краями, как обрезанные наполовину, высунулись они из воды.

Сверху, как вязаная плоская шапка, накрывала их полоска почвы, а на ней росли тонкие длинноствольные сосны — не такие коротышки, как на высохших болотах.

Андрей видел теперь всю картину в целом, и попросился сесть к мотору, чтобы не чувствовать себя пассажиром и гостем, а ощутить себя хозяином и лодки, и этого озера.

Егор пересел на нос лодки, Андрей примостился к мотору и не удержался — погонял лодку, повилял ею по воде, как виляют хвостом охотничьи собаки, когда весной, после долгой зимы, их выводят в поле — повилял размашисто и затаенно, словно сдерживая бурлящую силу. «Хвост» от лодки был длинный и медленно растворялся, сходил на нет.

Ветер был западный, и Седов решил, что тащиться к Озеру Ветров не следует — протока закрыта.

Он предложил охотиться вдоль берега и несколько раз выгонял лодку на берег, таскал Андрея по ближайшим увалам и опять умотал его так, что тот готов был возненавидеть такую охоту.

Косачей было мало, и охотники вынужденно дошли до Таватуя.

Протоки как не бывало — ровный, поросший сухой острой травой плоский берег был чуть ниже в том месте, где вчера был узкий канал. На глаз трудно было понять, где кончается твердый берег, а где начинается остров. Седов не советовал проверять это опытным путем — в плавучем острове были скрытые травой дыры.

Твердый берег был почти голый. Две-три сосны, две ели, несколько кривых берез, а дальше — до гор! — открытое место, поросшее редкими метелками тростника. Вместо протоки низкий болотистый берег — а за ним просторная вода озера Таватуя, а еще дальше, за нею — серо-синяя ломаная линия гор.

Место казалось некрасивым. Ветреное, открытое со всех сторон, оно было неуютным.

Березы, очищенные от листьев ветрами, стояли голыми, убогими из-за своей кривизны.

Егор развернул лодку к берегу, попросил пересесть Андрея к нему, отчего нос плоскодонки задрался, как у глиссера, и выгнал ее на довольно высокий берег.

Лодка сидела крепко — берег был плотным, торфянистым, сухим.

— Идем! — коротко скомаандовал он.

— Куда? — подивился Андрей, считая, что в этом месте может быть только привал.

Егор махнул рукой в сторону, где в нескольких километрах от берега начинались горы.

Как и день назад, сославшись на усталость, Андрей резко сказал ему, что посидит здесь и подождет его столько, сколько нужно Егору, чтобы добыть что-нибудь.

— Жди! — коротко сказал Седов.

Он, казалось, не замечал раздражения Андрея и напоследок проворчал:

— Плох тот охотник, что ноги трудит для развлечения глаз... Надо, чтоб и пузу весело было...

Он хохотнул и ушел.

Андрей бродил по берегу, скоро потеряв Седова из виду. Вдалеке прошла стая уток, низко снадая к воде, но в его сторону стая не повернула.

Меж деревьев, что стояли на берегу, было много следов, место утоптаное, чернело круглое кострище — что-то вроде стоянки охотников, когда западный ветер закрывает протоку плавучим островом. Рядом с кострищем лежал длинный шест — легкая ель, тонкая, очищенная от коры, судя по размерам, завезенная сюда издалека — все местные были толще, но намного короче ее.

Андрей вспомнил свои охотничьи книги, зачитанные с детства, и понял, что здесь охотились с чучелами. Правда, не ясно было, откуда здесь, на голом месте, появлялись косачи?

Но не зря же привезен сюда шест?

Он достал из рюкзака одну варежку, набил сухой травой, оттопырил большой палец, надел на шест, а шест прислонил к стволу ели, просунув его между ветвей — он пришелся вшору, и варежка приладилась точно к макушке.

Он читал, что косач необычайно сторожек, стремителен и нуглив, но глух до изумления, сверх всяких приличий — для него такая варежка — живой собрат, усевшийся на вершину ели. А раз сидит собрат, значит, опасности нет, и любой пролетающий просто обязан сесть рядом, поделиться новостями.

Андрей вяло глядел в сторону гор, куда ушел Егор, но скоро увидел облачко дыма, потом до него донесся звук выстрела, а над лесом по склону горы поднялась стая тетеревов.

Стая пошла стремительно вниз, стала разбиваться на группы и исчезать в лесу, но несколько штук летели в сторону озера, по очереди отставали и затаивались, пока не остался один, самый нануганный, все летевший к воде.

Андрей читал, что косачи не любят летать над большой водой, и стал внимательно следить за одиночкой: куда повернет — к нему или от него? Назад он не повернет, там стреляли!

Усталости и след простыл — косач повернул вдоль берега к его сидке, к его хилым елям и соснам!

Он был хорошо виден — все увеличивающаяся черная точка.

Андрей успел сбросить варежку и присесть у комля сосны. Метров за сто косач опустил хвост — шел на посадку!

Свист крыльев — и на вершину ели, что стояла рядом с чучелиной, тяжело и прочно сел косач. Сел так, что вершина стала раскачиваться: елка оказалась жидковатой для

такого петуха! А он удивленно оглядывался на странного товарища и вертел головой, словно переводя дыхание.

Тогда, много лет назад, отгремевшая война была еще близка, охота считалась доблестью, как и умение отлично стрелять, да и дичи, казалось, невпроворот! Никому из охотников не приходило в голову, что он может оказаться последним, кто видит живое чудо. И виной тому он сам, вооруженный «Лефанс», «Гулкой», «Винчестером», «Ижевкой»... Печаль «Красных книг» появилась позднее..

Лет двадцать ружье Андрея сиротливо висит на стене, а тогда...

Он так волновался, что первым выстрелом — метров с пятнадцати! — промахнулся. Петух сорвался в сторону протоки.

Зная дальнобойность своего ружья, Андрей отпустил птицу метров на пятьдесят и, тщательно выцелив, выстрелил. Петух тяжело стукнулся о торфяник, несколько раз тренькнулся с крыла на крыло и затих. Он был хорошо виден среди чахлой травы.

Андрей не двинулся с места, потому что следом летел второй.

Все повторилось, но теперь он не промахнулся — и второй петух, скользнув по ветвям ели, тяжело ударился о землю.

Андрей поставил ружье к сосне и побежал к своим роскошным трофеям, и пожалел об этом — он услышал за спиной сильный свист многих крыльев: целая стая, не замеченная им в азарте охоты, стала тяжело рассаживаться на худосочных деревьях, раскачивая ветви и испуганно озираясь.

Он кинулся к ружью. Стая яростно смялась — страх гнал ее и видимый враг и, когда в руках у человека оказалось ружье, только раскачивающиеся ветки убеждали, что все не приснилось — только что у него на виду сидели царственные птицы, а теперь они исчезли в густом ельнике на другой стороне протоки.

Петухов он уложил в лодку и накрыл брезентом.

Его расширяла радость и гордость удачливого охотника, возбуждение охоты еще не покинуло его, но мозг четко отметил, что был один выстрел со стороны гор — значит, в любом случае он «обошел» Седова — двух косачей одним выстрелом не возьмешь!

Теперь этот опытный и скучный добытчик будет посрамлен!

Он чувствовал что-то вроде опьянения: ты вырастаешь в своих глазах и знаешь, что и в глазах посторонних ты тоже хорош, и поэтому так нужны посторонние глаза и посторонние восторги в этом захватывающем и остром деле — охоте!

А воображение рисовало ему еще более заманчивые ситуации, ох, как легко воображение удваивало, утраивало, удесятерило его победы и уносило на легких крыльях охотничьей славы!

Егор вернулся уставший, достал из рюкзака некрупную тетерку в скромном наряде, аккуратно завернутую в папоротниковые листья.

Снисхождение к неудачливости напарника шевелилось в душе Андрея. Он не приставал с расспросами, неторопливо курил — был весел и сдержан.

— А ты в кого шпарил? — спросил Егор.

— В небо! — и Андрей сам засмеялся своей шутке.

— Едем на ту сторону...

— Зачем?

— Там ходим.

— Зачем?

— Что же тебе пустым возвращаться? — спросил Егор простодушно.

— А почему нельзя?

— Зачем тогда на охоту ходить?

Как можно небрежнее Андрей откинул край брезента и показал здоровенных петухов. Он хотел видеть Егора ошеломленным, но не увидел и тени изумления.

— Три раза стрелял? — деловито спросил он.

— Три.

— Два петуха на три выстрела — нормальная охота.

Ни восторга, ни зависти, ни похвалы. «Нормальная охота» — только и всего. Но не понравилось Андрею, что Егор без надобности снял очки и долго их тер, отвернувшись от него. Показалось москвичу, что не все так просто с Седовым, слышит он, как говорит с ним Андрей, но что-то заставляет его быть сдержанным и показывать безразличие к этим атакам, хоть вовсе они ему не безразличны.

— Можно и домой...

По дороге домой, вернее сказать, по воде домой он изложил теорию «правильной охоты» — если ты мазал больше пяти раз, ты не охотник, а агент по сбыту пороха местного охотсоюза.

Напарник слушал внимательно, что-то разонравилось ему в собственной уверенности и бравате. но что, он не мог себе объяснить.

Так начинался в жизни Андрея Рыка первый театральный сезон — окрестности города он изучил лучше, чем подмостки сцены.

Но прошло время, и он узнал иной мир — мир провинциального театра, где мирно уживалась драма с опереттой.

Звонкая, запоминающаяся музыка, яркие костюмы, горящие глаза!

Все кружится, все влюбляются. Все танцуют и поют. Мужчины в черных фраках. Мужчины в голубых фраках. Гусарские ментики, цветастые рубахи цыган!

А женщины?!

Невозможно описать неистовство портных и фантазии актрис.

Тонны кружев, шелка, косметики, корсетов, вееров — личных! — от прабабушек, чудом уцелевших в нашем суматошном веке и кочующих с особыми мерами предосторожности по провинциальным театрам..

Все скользит, порхает в карнавальном представлении и он, Андрей, в самой гуще, жадно впитывающий все впечатления и совершенно не думающий, что завтра утром, да что там утром — ночью! — сапоги выше колена, ватник и старая кепка заменят ему голубой фрак. Вернее, не заменят: он просто и естественно перейдет из одного прекрасного мира в другой — из сочиненного в реальный!

Рассветная тишина вздыхающего леса, крики его пернатых, жесткие разноцветные мшаники, почти прозрачные тростники, огромные валуны, тысячелетиями шлифуемые ветром, снегом, дождем...

Бесчисленные косачьи стаи и свежий медвежий помет. Тогда хватаешься за ружье, меняешь дробовые патроны на пулевые... И поворачиваешь в обратную сторону, чтобы только не встретиться с низкорослым жестоким уральским медведем...

Серебристая змейка взметывается из расщелины скалы перед твоим носом, когда ты лезешь, обливаясь потом, на верх увала, и грациозно замирает в угрожающей позе. Она ядовита, смертельно ядовита, и нужно набраться терпения, чтобы отодвинуться от нее на безопасное расстояние, не пугая резкостью движений — даже резкостью дыхания!

Все это — мир, в котором эхо выстрела только подчеркивает тишину и незаселенность огромной земли двуногими владыками...

Всякое проявление жизни — обыкновенное течение жизни! — казалось ему необыкновенным чудом, полным смысла, содержания, взаимосвязанности. Он все открывал заново, отчего и казалась ему жизнь прекрасной.

Он готов был плакать от расслабляющего чувства радости, видя стечканенные осенью красные листья осин, и был жёсток и точен, как далекий предок, прихватывая ружье к плечу, соревнуясь с природой в скорости, ловкости, выносливости — выживает, царит сильнейший!

Он страдал, видя смятый ком перьев, недавно бывший в мощном, но грациозном полете изощренно красивой птицей!

С завидным апетитом молодости он пожирал то, что оказывалось под этими перьями, приготовленное женами его новых знакомых. «Дичь лучше всего разделять руками!» — и от прекрасного петуха оставались тщательно обглоданные кости, сытое довольство и легкие рассказы за столом, как и когда тот был убит...

В этих рассказах обязательно присутствовала роскошная мать-природа, споровка и удачливость, которые, увы, доступны не всем, а только настоящим мужчинам-охотникам...

В голубом фраке было приятно рассказывать коллегам об общении с суровой природой.

Скатываясь с увалов, было приятно помнить, что после душа будет примерный цех, костюмеры и изящный, ладно сшитый, а чаще и не совсем ладно, — во всяком случае — нарядный костюм!

Егор Седов не стал для него частью ни того, ни другого мира — только приложением к ним обоим. Егор был зауряден, сер и незаметен. Он раздражал своей старостью душевной, хотя и был старше всего лет на десять.

Главным в неприятии нового знакомого было то, что Андрей пытался понять его, а тот жил тихой невзрачной жизнью, без громких фраз и поступков, не навязываясь, не стараясь удивить и показать себя, словно уже прожил свою жизнь и не нуждается в том, чтобы его понимали и восхищались...

На первых ролях он никогда не был, казалось, и не претендовал на них.

На сцене был мало заметен, хоть и надежен, аккуратен

в работе. Он никогда не опаздывал, никогда не забывал реплик, никогда не играл в зависимости от настроения, ни лучше, ни хуже — всегда одинаково профессионально работал.

Стрелял без промаха, но так редко, что мало кому удавалось видеть его в эффектной стойке Зверобоя.

Да и мало кто ходил в его компании на охоту. Попадались новички, но быстро охладевали к нему.

Каждую зиму он долго и старательно делал новую лодку. Одну. Делал, приспособив под верфь развалившийся сарай. И каждую осень свою проверенную, объезженную лодку — продавал.

Актеры театра, не скупясь, злословили о его деловитости.

В городе за его лодками была очередь на несколько лет вперед, потому что он делал за зиму только одну.

В театре и об этом говорили: мол, если уж зарабатывать топором, — не кокетничай, ведь лодки стоят дорого!

На охоту, в охотничьи сезоны, — а он строго соблюдал правила и сроки охоты, — он ходил как на работу, каждый день. Трехжильный — говорили о нем, но и стожильный не смог бы долго выдержать такую нагрузку. Не меньше двадцати спектаклей в месяц, каждый день репетиции новых спектаклей, и каждую ночь и утро — многокилометровые походы и лазание по горам.

Он казался чужаком в изменчивом и пестром мире театра.

Он не был украшением в подлинном мире природы, так казалось.

Но когда Андрей узнал, что после охоты часть дичи Седов продает коллегам в театре, он стал в душе презирать напарника, оттого сторониться, старался меньше попадаться Егору на глаза, ни с кем о нем не заговаривал, боясь услышать еще большие подробности о заурядности и сквалыжничестве своего коллеги.

Но судьба, словно нарочно, сталкивала их вновь и вновь — и на сцене, и в жизни.

Охотников в театре было мало, и Андрея включили в состав стрелковой команды: в городе был хорошо оборудованный тир, где можно было тренироваться каждый день, была бы охота, вернее сказать — не было бы охоты!

Егор был капитаном, он и пригласил Андрея в команду.

В маленьких городках такие общегородские соревнова-

ния становились событием, к ним готовился весь город, и даже на тренировках не было отбоя от болельщиков и знатоков.

Седов терпеливо объяснял Андрею разницу между стрельбой в тире и на охоте, помогал правильно ставить ремень, выцеливать, учил правильно дышать, что оказалось самым важным и трудным.

Только там, в тире, Андрей заметил, что на левой руке у Егора нет указательного пальца, а средний отрублен наполовину.

Рядом с Андреем на потертом мате лежал Степан Денисов, с которым он сошелся быстрее и ближе, чем с Егором, хотя и не был Степан заядлым охотником.

Топором оттянал, когда лодку строил? — спросил Андрей у Степана, показывая глазами на руку Седова.

— Нет! — не отрываясь от прицела, промычал Степан, — нет! — повторил он, — следок от войны...

— Заливай! — приподнялся на мате Андрей.

— Зачем? — пробурчал Степан.

— Так что у него с рукой? — не унимался Андрей.

— Партизанил он в войну...

— Партизанил? Сколько же лет ему было?

— Лет тринадцать...

— Сколько? — от удивления Андрей сел.

— Не меняй положение! — проходя, сказал Седов, — трудно дыхание восстановить...

Сам капитан тренировался после всех — ему надо было долго налаживать дополнительные линзы к толстым стеклам очков. Линзы были хрупкими и на хрупких кронштейнах, но результаты стрельбы не становились от этого хуже — Седов был лучшим стрелком города!

К этому так привыкли, что славу получал всегда... второй. Первый разумелся сам собой и был тих и незаметен, а быть вторым после него было не только почетно, но казалось мало достижимым средним стрелкам.

В театре Андрей стал приглядываться к Егору, изучал его походку, выражение лица, манеру тихо держаться на людях — ничего героического не разглядел.

Откуда он и кто?

Степан Денисов, как мог, просветил его:

— Из Белоруссии. Мальчишкой партизанил. Был ранен, эвакуирован. Лежал в госпитале на Урале. Остался здесь. Закончил ремеслуху. Потом самодеятельность, потом при-

шел в театр. В этом городе почти старожил, так как и городу всего ничего...

Андрею захотелось снова пойти с Седовым на охоту, чтобы снять с души камень, избавиться от неприязни к нему из-за его добычливости, беспардонной привычки продавать тетерок в театре и лодки-плоскодонки в городе...

Где-то в глубине души шевелилось и другое: он хотел быть щедрым с новым товарищем, попытаться возвысить его до своего понимания красоты жизни, открыть те глубины его, Седова, собственной души, о которых он и не подозревает...

А по сути дела его распирало чувство собственного превосходства, так свойственное молодости.

Еще не пришло время думать, что же останется в нем, когда пройдет это чувство превосходства и потеряются преимущества, хотя бы потому, что пройдет молодость...

Спустя время он поражался себе, как же распирало его ощущение собственной значимости, как гордился он собой, считая свое сердце и душу кладезем возвышенных чувств! От своей щедрости он готов был делиться почти бескорыстно — черпайте из моего чистого родника, но втайне гнездилась мысль — «только непременно говорите об этом и мне и другим, говорите о моей исключительности, неисчерпаемости».

С возрастом у него это прошло, но всегда раздражало подобное ощущение, сохранившееся в других на долгие годы...

На следующую охоту Андрей напросился сам, и была она неудачной.

Они прошли на лодке в один из заливов озера Таватуй. Оставили лодку на берегу и двинулись к перевалу.

На полпути их остановил неожиданный и сильный дождь — такой может быть и кратковременным.

Осенний дождь на Урале колюч и тяжел, и непременно — с ветром! Егор, посмотрев на небо, сказал, что дело дрянь, что шалаш не поставят они не успеют и промокнут, и, разыскав старую объемистую в стволе и кроше ель, укрылся с напарником под ее пологом.

Прошло два часа, дождь не прекращался, и Егор забеспокоился.

— Надо сматывать удочки, — сказал он, — и, как можно скорее, двигать к берегу.

Голос его не стал тревожннее, но что-то непривычное в его интонации насторожило Андрея, он понял, что их ждут какие-то неприятности.

Что может быть еще, кроме этого всепроникающего колючего дождя и ветра?

Выбрались они к берегу насквозь мокрыми, ватники стали тяжелыми, рукава плохо сгибались, затрудняя движение рук, свитера под ними набухли, но еще хранили тепло тела.

Егор не стал снимать с лодки брезент, а, приподняв его, помог Андрею забраться под его полог так, что только голова и часть спины высывались наружу, на растерзание дождю и ветру, сам пристроился так же и погладил мотор:

— Ну, чудик, не подведи!

Мотор завелся сразу.

— Не подвел! — сказал Андрей.

— Не здесь... Там пусть не подведет! — и показал Седов головой на середину озера.

Только теперь понял Андрей в чем дело: берега исчезли в густой круговерти дождя. Ближе к берегу были видны тяжелые волны, ветер дул резко и порывами, обжигаяще холодными. Плоскодонка показалась мало надежным судном для такой волны и непогоды: борта лодки были сантиметров тридцати — чуть возвышались они над водой!

Резко холодало, дождь шел наполовину со снегом, ветер тянул все сильнее, как разгоняющийся курьерский поезд.

— Пока не стемнело — к протоке надо... За горами — тише... Здесь оставаться нельзя — замерзнем... Берегом идти — не дойдем! — река впадает...

— Да и лодку жалко бросать... — неожиданно для себя сказал Андрей.

— Лодку не жалко... А нам не дойти без нее.. Будет снег, может, и мороз сразу сильный.. Вкруговую — километров шестьдесят — не дойдем.. Там еще два болота, прямо к берегу выходят...

Он не пугал.

Он точно обрисовал картину и еще объяснил, что коротким путем по диагонали идти через вздыбленное озеро нельзя. Ветер не тот, перевернет лодку, а Озеро Ветров пловцов не любит.

Андрей уже слышал, что вода в озере ледяная, даже в июльскую сорокаградусную жару, а сейчас на дворе

октябрь; Урала он еще не знал, но знал, что глубина озера никому не известна, говорили — бездонная впадина...

Он впервые столкнулся с осенним штормом на озере, понял, что дело серьезное, но еще не понял, насколько это серьезное дело — осенний шторм на озере Таватуй!

Егор часто менял направление.

Он прогонял лодку вдоль небольших волн, ставил поперек крупных так, что плоскодонка вскарабкивалась на них, и опять гнал лодку вдоль пологих, норовя все время идти носом к ветру, но это был ступенчатый ход: на малых — вдоль, на крупных — поперек, а в целом — носом к ветру, лишь ненадолго — к ветру бортом.

Работа была изнурительной, руки мерзли от ледяных брызг — вместительная, но легкая на воде, плоскодонка требовала мгновенного прикосновения руки, чтобы направить ее нужным путем. Андрей видел, как трудно Егору. Прокричал, что сменит его на моторе.

Егор отрицательно покачал головой.

Было странное ощущение тишины. Не слышалось завывания ветра — тяжелый мокрый снег гасил все звуки. Только плюхалась вода под днищем, и по брезенту, как горохом, хлестало струями то ли снега, то ли дождя. Так же глухо они били по ватникам и мокрым шапкам.

Видя, как Андрей пытается согреть руки, то засовывая их за пазуху, то пытаясь сесть на них, Егор прокричал ему что-то...

Андрей не расслышал.

Знаками Егор показал ему, что надо сунуть руки в воду.

На удивление — в воде рукам было теплее, но стоило их вынуть из воды, как ломящий холод крутил суставы, кисти немели, и все выворачивало болью.

Потом Андрей не смог вспомнить: было ли ему страшно? Не потому, что хитрил или стеснялся признаться в естественном чувстве — страхе! — нет! Он запомнил надолго — потом! — только детали.

Он вдруг замер, увидев, будто впервые, очки на глазах Егора! Он же слепой! Очки залиты водой! Как он увидит, куда им плыть?!

Андрей не знал, что глаза им не могут помочь, поможет только направление ветра, которое Егор знал отлично, а для этого не нужно зрение, в этой круговерти оно бесполезно. Благоприятное в уральских ветрах, как узнал позднее Андрей, только то, что они дуют с завидной точностью в одних и тех же направлениях, в одно и то же время года,

и тот, кто знает их характер, может на него положиться. Только надо знать!

Было так холодно, что зубы слышно стучали, и сдерживать эту дрожь не было сил. Безучастность угнетала и, чтобы хоть что-то делать, а не сидеть сложа руки, Андрей стал ладонями вычерпывать воду, набирающуюся в лодку.

Седов увидел это и показал рукой куда-то в борт, рядом с Андреем. Тот пошарил рукой под брезентом и наткнулся на самодельное, из большой консервной банки, ведро.

Страх, возможно, и оглушил бы Андрея, но он с надеждой глядел, как Седов непрерывно водит из стороны в сторону мотор, привычно стряхивает ладонью воду со стекол, стучит кулаком свободной руки по согнутым в одном положении коленям, стучит по плечам, тоже немеющим, — корма не шире человеческого зада, не очень повертись! — во всех его движениях была уверенность и даже покой.

Подражая старшему, Андрей стал разминать свои колени и плечи и вновь вычерпывать воду.

В позе Егора, в его движениях не было суетливости, не было случайности — он бывал в таких переделках. Это успокаивало Андрея.

Он бывал и он жив! И он будет еще в таких делах, и Андрей готов с ним быть много раз, только быть...

Андрей продолжал черпать воду, стараясь подражать Егору в его бесстрастности в этой адской работе, он потерял ощущение времени и не мог бы ответить — темно или его глаза устали от серой мути, которая стала казаться черной, непроницаемой мглой...

Он запомнил главное — он механически повторял, следя за Егором, одно и то же:

— Вдоль... Поперек... Вдоль... Поперек... Вдоль...

Это был ритм, пойманный в движениях лодки, ритм уверенной руки Егора. Ритм, который держал сердце, подчинял его себе.

--- Вдоль... Поперек...

И даже в этом оцепенении, в этом состоянии прострации, Андрей с ужасом вздрогнул, покрылся потом, когда лодка резко ударилась обо что-то днищем, глухо простонала.

Андрей резко вскрикнул.

Вскрикнул и Егор, и продолжал кричать равномерно, и тоже, как заклинание:

— Все! Все! Все! Порядок... Протока... Совсем близко... Скоро совсем... Это корни... Корчевали когда-то... Корни это... Они в протоке... Рядом... Совсем рядом... Протока...

Только опыт помогал Егору мгновенно вытаскивать из воды мотор, наклоня на себя в лодку при малейшем скрипе днища, чтобы остатки пней не сорвали лопасти игрушечного винта.

Было уже темно, и только патренированным чутьем вел Седов лодку вдоль берегов протоки в «свое» озеро, подальше от Таватуя.

Он совсем поднял мотор, закрепил его, взял весло, подгребая с двух сторон, ввел лодку в самое узкое место протоки, и, словно вытолкнул, на ощупь, к свободной и почти спокойной воде другого озера.

Резко, как и начался, ветер спал, и утихомирился дождь со снегом. Стало тихо. Собрав последние силы, ветер еще раз задул нанористо, но ненадолго и совсем стих. Этот порыв разорвал тучи, и в их прогале вспыхнула большая луна, белая, засияла над ними, а ее отражение дрожало на не совсем спокойной глади воды, куда доходили остатки бешеных волн Таватуя.

— Горы вокруг! — объяснил Егор, — здесь бури и не было... Теперь покурим...

Широко и свободно он вздохнул и стал сворачивать брезент.

Андрей пытался отжать воду из рукавов ватника, не снимая его, засуетился и чуть не опрокинул лодку.

— Отлично! — засмеялся Седов, — если мы от твоей ловкости вылетим в воду — это будет замечательной мезью Озера Ветров за несостоявшееся развлечение... — он говорил вычурно и долго, избавляясь от напряжения

Смеялись оба, смеялись все громче, смеялись неуклюжести Андрея, смеялись надежной плоскодонке и трудяге с ласковым именем «Чайка», смеялись над пережитым страхом, что не сумел прихлопнуть их...

Егор достал из рюкзака целлофановый пакет, извлек сигареты, сухой спирт. Взял кружку и зажег в ней несколько таблеток. Веселое пламя заплясало в алюминиевом очаге, осветив лодку, двоих людей, весло поперек лодки и сгустив тьму вокруг нее. Вторую кружку, большую, зачерпнув ею забортовой воды, он поставил на край первой, не закрывая ее полностью, чтобы пламя могло «дышать».

— Ползи ближе, только аккуратнее... Грей руки, кури... Скоро чай пить будем.

Потом они пили чай, а лодка неторопливо увлакивалась течением в сторону их дома, все дальше от протоки...

Андрей украдкой поглядывал на товарища, разглядыв-

вал его, совсем незнакомого, другого человека, не того, кто первый раз взял его на охоту, даже не того, кто сегодня сидел с ним в лодке по пути т у д а — этого человека он не знал! Какое-то новое чувство крепло в нем: стало казаться важным, что думает о нем этот молчаливый человек и еще более важным, чтобы думал он о нем, Андрее, что-то хорошее, пусть и снисходительно, но добро...

Пытаясь найти нужный тон в общении с Егором, приладиться к его манере разговора, Андрей сказал:

— Жаль, что сегодня вовсе без дичи оказались...

И осекся, почувствовав, что не знает, как говорить с Седовым.

Слова показались фальшивыми и оттого пустыми.

Егор снял очки, долго протирал их, потом водрузил на острый нос и заговорил.

Он говорил без недомолвок, ничего не скрывая, не стараясь вызвать жалость, а просто выговариваясь — наверно пришло время. За последние годы он так устал, что стал бояться мрака, который прокрался к нему в душу. и не знает, как от него избавиться.

Возможно, что этот проклятый шторм был последним пределом его терпения, а косвенной причиной был и сам Андрей — Егор признался ему, что давно, да что там давно, сразу почувствовал его неприязнь.

Он рассказал, что у него четверо детей и все они не его дети.

Приемные! Рассказал, что жена старше его и сильно больна, несколько лет не работает -- и четверо его приемных детей для нее... тоже приемные! Дети тоже не совсем здоровы, часто болеют. А по его разумению, куда легче болеть самому, чем смотреть, как болеют дети и женщина, которую любишь. Рассказал, что живет в коммунальной квартире гостиничного типа, в доме, что недалеко от театра. Квартиру отдельную обещают дать. Давно обещают. Но он же не ведущий артист...

И совсем просто сказал, что продажей лодок и охотой здорово подкармливает семью...

Он говорил без жалости к себе и без гнева на жизнь и на людей. Он никого не обвинял, он просто говорил о с в о е й жизни, такой, какая она есть, и менять ее он не собирался, потому что это была его ж и з н ь.

Когда он замолк, Андрей едва выдавил:

-- Прости меня...

Егор не слышал этих слов.

Или не захотел услышать. Намотал ремешок на маховик мотора, рванул за него, мотор фыркнул и завелся только с третьего раза, словно и ему нужен был отдых, и он еще не совсем пришел в себя после той кутерьмы, что была на озере.

Егор прибавил обороты, и лодка пошла прямо по лунной дорожке, рассекая ее — позади лодки она разбегалась широкими светлыми усами — это плясали на волнах, поднятых лодкой, осколки белой луны...

НЕСЫГРАННАЯ РОЛЬ СТЕПАНА ДЕНИСОВА

На центральной площади города гостиница, кинотеатр, театр и сквер с фонтаном, никогда не работавшим. Ранняя и резкая осень наполнила чашу фонтана разноцветными листьями: их подметали со всего сквера и складывали в фонтан много лет. В центре фонтана стоял столб, круглый, цементный, из которого по замыслу зодчих должны были бить струи воды, оживляя прохладой знойные летние месяцы. Старожилы города клялись, что этого они не видели.

В двухэтажной, деревянной гостинице, с темными скрипучими полами, зал ресторана казался просторным и светлым из-за огромных, во всю стену, окон, зато в номерах окна напоминали бойницы: света немного есть, да и ладно, зато тепло сохранится, когда грянет уральская зима, злая, многоснежная, с пронзительными ветрами. В ресторане, вероятно, рассчитывали на иные источники тепла для клиентов.

Номер в этой гостинице стал первой, в моей жизни, собственной комнатой, после густонаселенной родственниками в Москве. Первая комната. Первый сезон в профессиональном театре. Ближайшей работой для меня оказалась маленькая роль в новом спектакле. Собирался театр ставить ее к ноябрьскому празднику, так что репетиции, по провинциальным нормам, должны были начаться ровно за месяц до премьеры.

Два длинных месяца мне предстояло слоняться по театру — знакомиться с труппой, многочисленной, с репертуаром, «учиться у старших» — словом, бездельничать,

что казалось оскорбительным после Москвы, после будоражащих душу планов спасения провинциального театра, да и просто в силу молодости. Довольно скоро я готов был на коленях умолять дирекцию об освобождении от обилия ролей, но первые два месяца оказались мучительными, правда, они дали мне возможность хорошенько разглядеть, что такое и а с т о я щ и й театр, узнать город и его окрестности, всласть поохотиться, в общем, к первому выходу на сцену стать в городе и театре своим человеком.

В двадцать с хвостиком, плюс специфика профессии — умение приспосабливаться к партнеру — это оказалось делом не трудным.

До начала сезона оставалось несколько дней, но почти все актеры, музыканты, танцовщики съехались в город из отпуска и часто появлялись в театре, еще не растеряв в душе забот и волнений лета, еще не переступив великий порог — Начало сезона! — когда все прошлое пресекается неумолимым законом провинциального театра: двенадцать премьер в год, чтобы зритель, хотя бы наполовину, заполнял зрительный зал, что даст возможность служителям храма получать зарплату, — до этого рубежа еще оставались дни, а посему все были оживлены, открыты для разговоров, и творческие муки и неурядицы еще не омрачали лица людей театра.

Моим первым знакомым стал актер Егор Седов — сблизила охота.

Его роскошная плоскодонка увозила нас за тридевять земель и волн, и мы охотились, чуть ли не круглосуточно.

Это скрадывало мое одиночество и горечь ненужности, и скрадывало томительные дни до начала сезона — а впереди столько премьер! — когда, казалось, судьба должна будет сжалиться надо мной и я смогу блеснуть, доказать, покорить, ошеломить и т. д.

Столичная чванливость уверяла меня, слава богу, недолго в моем превосходстве над провинцией, хотя по сцене театра я еще не сделал ни шагу.

Но ведь из театрального института — спросите любого выпускника! — выходят в основном гении.

И вот начало сезона.

Я не узнавал и тех, с кем был уже знаком. Это была ярмарка тщеславия, парад одежд и причесок, это были горящие глаза и ослепительные улыбки, поддельные и настоящие драгоценности женщины соперничали своим блеском с сиянием подведенных глаз. В узких коридорах

и на сцене смеялись, разговаривали, обнимались и целовались около ста человек — музыканты, балетная труппа, актеры драмы, актеры оперетты. Громкие голоса, всегда поставленные «в позицию» у опереточных актеров, были непривычны моему слуху, выходцу из Театрального московского, где с грехом пополам, сконфуженно еще витал дух Станиславского.

На меня обрушился поток, именуемый общественной жизнью театра. По обрывкам разговоров я легко узнавал о сложных перипетиях не только отпуска, но и прошлого сезона:

— Представь себе — она разошлась с ним...

— А дочь?

— Ему оставила — и поминай как звали...

— Не говори, не говори — лучшие боровики в Белоруссии, под Оршей... Четыре сотни белых за десять минут!

— Тебе очень идет эта прическа!

— По-моему, ты только что сказал это же Солнцевой...

— Дай же я тебя расцелую, старый черт! Загорел, бандит, загорел, как контрабандист!

— Крым, батенька, это... Одно слово — Крым!

— Теперь я не дурак — или давайте высшую, или только меня и видели — между нами, меня ждут в Сызрани...

— А ну, подойди, подойди — не укушу, хоть ты и подлец...

— Что это тебя так разнесло, дорогуша?

— До зарплаты не подкинешь? Сам знаешь — Крым...

— Конечно, жить с ней можно. Нужно ли? Вот вопрос!

— Осторожнее, Зиночка, побереги помаду — ты столько уже целовала, себе ничего не останется...

— Между прочим, несмываемая...

— Ой, покажи...

— Сама вязала? Не может быть...

— С ними только одно — надо требовать... Требовать и все. На первом же собрании встану...

— Еще одна роль, а славы все нет...

— У повенкой ножки толстоваты...

Сколько вздохов, взрывов любви, огорчительных всплесков — «Не может быть, чтобы он... Подлец!» — самоутверждений — «Нет уж, в новом сезоне я другой... Шалишь, я стал другой...» — два часа, три часа гул человеческих голосов, заглушивших бы любые водопады мира, оказались они вблизи сцены провинци-

ального театра в день открытия очередного сезона.

На другой день все стихло и вошло в привычное русло.

Впереди --- двенадцать премьер года, обязанных, если уж не соответствовать мировым шедеврам, то, во всяком случае, отвечать самому высокому уровню. В масштабе города. И кормить труппу.

Уральская осень резко сынала горящие листья на здание театра, опоясанное мощными колоннами, и дивилась человеческой суете.

А я жадно впитывал в себя эту суету. Мне тоже хотелось спрашивать и чтобы меня спрашивали, целовать молоденьких актрис, шутить. Но, увы, я был чужим на этом кратковременном празднике.

Первые дни сезона на сцене восстанавливались спектакли прошлого года, не снятые еще из репертуара. Они дадут возможность отрешиться от старого спектакля, потом опять новый. Каждый месяц. Художники, не мешая актерам, что-то подкрашивали, подновляли, прибавляли в декорациях, электрики ладили свет, актеры повторяли роли, вспоминали мизансцены, музыканты, не очень слаженно, вновь тревожили Великих оперетты — Кальмана, Легара, Штрауса...

Мне нравились эти репетиции, правился полутемный зал, откуда можно было, забившись в дальний угол, постигать и принимать эту странную забаву взрослых людей — оперетту. Восстановление спектаклей, еще не надоевших не только зрителю, но и самим творцам, лучшее время в театре. Актеры на сцене свободны, импровизации легки и неожиданны, в ткань незамысловатых текстов легко вплетаются имена товарищей, намеки на кулуарные события, обсуждение случайно увиденных в зале товарищей. Легко повторяются отдельные сцены, и, вдруг, увлекаясь, актеры играют, что называется, «в полную ногу», играют чисто и изящно, заражая партнеров и увлекая тех немногих, что расселись в разных углах пустого зала. И вмиг возникает ощущение праздника, легкого и чистого — никто не думает об успехе у публики, не дрожит от того, что смотрит худсовет, решающий прибавлять или не прибавлять десятку к зарплате. Это прекрасный миг театра, свободный от корысти, зависти и потому становящийся выше всяческих поверхностных суждений о несерьезности этой игры взрослых.

В первый день репетировали оперетту «Роз-Мари» Я впервые видел оперетту вблизи и еще не определил своего

отношения к ней. Все несколько преувеличенное — цвет костюмов, громкая музыка, яркий свет — несколько шокировало меня, выкормыша старого реализма пятидесятых годов, и манило праздничностью, этой своей преувеличенностью и громкостью. Манило открытостью и легкостью.

Каждая оперетта отдает дань балету. В балете нашей оперетты, в данном случае в «Роз-Мари», украшением, несомненно, был Александр Хорст. Он был из обрусевших немцев из Казахстана, основавших там колонии во времена Петра I. Он был первым танцовщиком оперетты, председателем месткома, заядлым рыболовом и лихим гонщиком: его «Волга» была наглядным свидетельством его лихости. По внешности он напоминал индейца, может быть, из племени оджибвеев, что было очень кстати в индейских плясках в оперетте «Роз-Мари». Он был великоленен, обнаженный по пояс, могучий торс был пропорционален и еще не требовал морилки для придания краснокожести: летний загар был ровен и свеж — парик длинных черных волос был перехвачен ленточкой. Александр в жизни был блондином, с короткой стрижкой полубокс, что он считал чуть не обязательной формой стрижки, и мне, длинноволосому, носящему еще модель типа «Тарзан», доставалось от него часто и жестко, вплоть до немедленного требования идти в парикмахерскую. В течение года я устоял, а там и мода переменилась. Впрочем, закончу о нем: мягкие брюки, отороченные бахромой, были так хороши, что племя оджибвеев могло бы признать его своим вождем. Во всяком случае, много лет спустя югослав Гойко Митич, ставший индейцем кино семидесятых годов, произвел на меня меньшее впечатление или, точнее, понравился мне только потому, что был похож на того далекого Александра Хорста, главного индейца в плясках в оперетте «Роз-Мари».

На сцене колыхались ленты капрона, подсвеченные красным фонарем, и вполне имитировали костер, разведенный рядом с вигвамом. Вигвам был почти не освещен, только силуэт его едва угадывался, что давало волю фантазии, наделявшей это сооружение из двух перекрещенных сверху палок и холста с детства манящим звучным названием — вигвам!

Позже я часто ходил смотреть пляски индейцев у вигвама при свете костров в оперетте Стодгарта «Роз-Мари».

Мне правилось все — даже звучное имя автора — Стодгарт! — не имя, а шик!

Александр Хорст, в силу необычности своей фамилии,

запомнился сразу. Из остальных имен актеров труппы запомнилось и другое — Степан Денисов. И вот почему.

«Старики» часто говорили о нем, говорили так, что было ясно: в театре его любят, что по их меркам он еще молодой — лет тридцати пяти. Кроме того, интриговало, что он явится не к началу сезона — опоздает на неделю, может, на две, потому что переучивается на... вертолетчика. Переучивается? Кем же он был раньше? На вертолетчика переучивается актер? Совсем странно. В приказе о распределении ролей спектакля, где мне была доверена небольшая роль, его имя стояло первым. Он должен был играть героя пьесы Горбатова «Юность отцов». Степан Денисов — Степана Рябинина, так, кажется, звали героя пьесы. Я стал ждать его с нетерпением.

В одну из репетиций, когда я был зрителем, по проходу прошел один из актеров и сказал сидящему передо мной: — Степан приехал!

Я сразу понял, что говорят о Денисове.

Он шел по проходу стремительно и чуть косолапо, приглядывался к сидящим в зале, кому протягивал руку, кому просто махал рукой, кому посылал воздушные поцелуи, что получалось у него не очень изящно, а как-то по-детски — он чмокал себя в ладонь и, как волейбольный мяч, посылал поцелуй в темноту.

Дирижер оркестра, полный, высокий, страдающий одышкой и ждущий пенсии, Лев Иванович Безак, оглянувшись на шум, узнал Денисова, приостановил звуки оркестра и хриплым голосом крикнул в темноту зала:

— Вертолетчикам — музыкальный!

Тромбонист, встав в оркестровой яме, что-то прогудел пришедшему, ударник поколотил в большой барабан и все опять занялись неравной борьбой — несильно слаженная команда, в коей наибольшей силой обладала медная группа, — с Легаром. Композитор явно не рассчитывал на подобный состав и качество оркестра.

Актеры со сцены, прикрыв ладонями глаза от софитов, тоже приветствовали Денисова. Выход получился заметным и торжественным.

Проходя мимо меня, он тоже кивнул, через несколько шагов остановился, будто споткнулся, что он часто практиковал и позже, на сцене, вернулся ко мне:

— Новенький? Привет. Давай знакомиться..

Все это он проговорил веселым шепотом и протянул мне руку.

Сразу визнавав, что я из Москвы, обрадовался земляку и, чтобы удобнее было разговаривать, сел на ковровую дорожку в проходе.

Я пытался встать и хотел было пересесть к нему на дорожку, хоть это и казалось мне несколько экстравагантным, но не говорить же со старшим, возвышаясь над ним в удобном кресле, когда он сидит на полу, скрестив ноги.

— Сиди, сиди... — громче прежнего сказал Степан, — так удобнее разговаривать...

Я в этом не узрел никакого удобства, а дирижер вновь остановил оркестр и строго прохрипел, повернувшись в зал:

— Денисов, пошел вон, а не то заставлю работать в оперетте...

Вероятно, для Степана эта угроза была весома: он вскочил, засмеялся и закричал дирижеру:

— Извините! Я больше никогда...

Повернулся ко мне и быстро добавил:

— Идем в гримерную, поболтаем, я в Москве в этом году так и не успел побывать...

Гримерные ютились на втором этаже, вдоль узкого коридора, охватывающего коробку сцены. В каждой обитало человек по десять. Пол из некрашенных досок был кривоват, разохся и поскрипывал под ногами.

— Тебе место определили? — спросил он на ходу.

— Да.

— Если хочешь — давай со мной за один столик...

— Как это? — спросил я, еще не искушенный в делах настоящего театра.

— У меня два ящика, в одном сложишь свои принадлежности — грим, вазелин, полотенце... Сидеть-то будем, гримироваться, за разными, ты, как я понял, драматический? На наших спектаклях балетных нет, так что столиков на всех хватит, но в других спектаклях, когда оперетта, — все тумбочки заняты...

Он неожиданно и заразительно рассмеялся:

— После их спектаклей окна открываю — проветрить: молодые жеребцы... Потливые и воилвые...

В коридоре первого этажа, на лестнице, и, идя по второму в самый конец, где была его гримерная, я успел рассмотреть Степана Денисова. Он выглядел много моложе своих лет, своих тридцати пяти — парнишка, худой, невысокого роста, хорошо сложенный, легкий в движениях, чуть косоланый, но верткий. Глаза очень крупные для его

небольшого лица, навывкате, грустные даже тогда, когда он смеялся. Они словно не умели шуриться в смехе. Нос курносый, почти женский — ладный и опрятный, и большой некрасивый рот — за такие рты в детстве дразнят «лягушками». Зубы не очень ровные, «пилой», но белые-белые, что скрадывало все недостатки широкого рта. Улыбка была открытой и доброй. Волосы густые и волнистые. Таким волосам смертельно завидуют женщины, считая, что мужчинам такая роскошь ни к чему, ибо мужчина — мало не черт, уже красавец! Так, кажется, определил нас Гоголь. Цвет волос я так и не смог выяснить, потому что в коридорах нашего храма искусства было сумрачно, как в тропическом лесу — дирекция театра сэкономила электричество, вворачивая в коридорах лампочки времен гражданской войны и разрухи.

В гримерной было еще сумрачнее, света вообще не было, а тяжелые шторы от потолка до полу задернуты. Денисов распахнул шторы, и солнечный день, прорвавшись сквозь запыленные окна, осветил гримерную, превратив ее из темного сарая в хорошую рабочую комнату.

Она была просторна, квадратна и толстый ковер на полу даже создавал некоторый уют.

Глаза быстро привыкли к солнечному свету, хотя и яркому, да все же осеннему, я разглядел столик, выдвинул предложенный мне ящик и оглянулся на Степана. И не смог сдержаться — громко ойкнул, запоздало зажав рот рукой.

Волосы у Степана были седые.

Серебряные волосы на голове мальчишки. Густые, волнистые, казалось, еще ни один не вынал. Но седые.

Он засмеялся, растянув свою пасть и, сверкая неровными ярко-белыми зубами, проговорил:

— Первый раз — все так! Потом привыкают...

Мы не успели поговорить, успели только понять, что понравились друг другу, как в гримерную вошел дымящийся паром, возбужденный индейскими плясками Александр Хорст, обласкал маленького Денисова, расцеловал в обе щеки и стал рассматривать, улыбаясь. Я понял, что они дружат.

Хорст, знаменитый рыболов города, не мог отказать себе в удовольствии похвастать очередным уловом:

— Вечером спектакля нет, так что давай ко мне, Уха обжирательная. Хвастать не буду, не люблю. Сам увидишь, каких красавцев надергал. Я же не тренач-охотник, я правдив, как рыбак, это все в городе знают...

Стенан поглядывал на меня, будто подсказывал что-то Саше, и тот, не отпуская Денисова, повернулся ко мне: — Не брезгуешь отведать моей ушицы? А, Андрей? — Неудобно как-то... — но я не скрывал своего радостного согласия.

— Это там у вас в Москве неудобно... Ну, ждите меня, мигом душ схвачу, и ко мне...

Согласие мое не удивило их, позже я понял, что отношения в маленьких городах и театрах еще сохранили легкость знакомства и непринужденность. Если человек нравился, его принимали сразу, и нужно было быть плохим человеком, чтобы разрушить доброе к себе отношение. Если же не принимали, почти всегда это оставалось неизменным, хоть ты из кожи лезь, и чаще всего человеку приходилось уходить из театра, причем это ни в коей мере не было результатом интриг — просто такого человека не замечали, и он засыхал от одиночества в человеческом муравейнике, коим является театр.

Жену, танцовщицу из балетной труппы, Хорст отправил домой загодя, чтобы приготовить все к приходу гостей. «Неожиданных гостей», — сказал я, но Денисов поправил: «Неожиданных гостей у Хорста не бывает, он каждый день выдумывает и планирует гостей...»

Как и все в городе, дом его был в десяти минутах ходьбы от театра. День солнечный, чуть прохладный, располагал к неторопливой беседе. Трое, переговариваясь, знакомясь, шли по улице, ползущей чуть заметно вверх вокруг увала, прикрывающего мощное здание театра от назойливых взглядов пассажиров, едущих в электропоездах. Впрочем, такие увалы скрывали и весь город, и вновь приезжающий с вокзала видел только редко растущие сосны на не крутых склонах и бывал поражен, как только автобус, сделав петлю вокруг одного из увалов, спускался вниз сразу в Город — как в сказке город был виден сразу и весь — он лежал в глубоком распадке.

Саша Хорст был веселым человеком, во рту у него чисто сверкал золотой зуб. Перед выходом на сцену Саша смачивал зуб лаком и замазывал белым тоном, и зуб не сверкал. А в жизни он был неотъемлемым его знаком — хмурым Сашу мало кто видел.

Мимоходом включая меня в свой разговор, так, чтобы новичок не чувствовал себя лишним, они говорили о своих делах.

Хорст подробно рассказывал о своих летних приклю-

чениях и успевал расспрашивать Денисова о его вертолетах. Я понял, в чем дело.

Но не все понял.

Денисов был летчиком запаса, летчиком-истребителем в прошлом, а в этом году проходил курсы переподготовки на вертолетчика, так как не мог летать на современных истребителях, а его самолетов не осталось и в помине. Это я понял, но никак не мог сообразить, вычислить, когда же Денисов стал летчиком, когда учился в институте, когда начал работать в театре, если ему только тридцать пять лет?

Включаясь в разговор, я называл Хорста индейцем, потом усложнил и назвал его «оджибвеем». Прозвище «Индеец» позже пристало к нему, но я продолжал звать его оджибвеем — звучало таинственно, и нравилось ему больше. Не могу ручаться, но, кажется, слово «оджибвей» Саша Хорст слышал первый раз в жизни.

В их разговоре мелькали еще малоизвестные мне имена, совсем неизвестные события, но, чем больше я их слушал, тем уютнее мне становилось в этом городе — он заселялся живыми людьми с их веселыми или грустными делами, дома начинали обретать свою индивидуальность, потому что в каждом из них жил кто-то из театра, была какая-нибудь свадьба, встреча Нового года, дня рождения. Спектакли театра, выписанные на сводной афише, оживали, становились многоликими, я узнавал их внутреннюю жизнь, узнавал трудности создания, интриги, успехи, провалы. Я протягивал ниточки памяти все дальше и дальше во внутреннюю жизнь этого небольшого города, и они связывали меня с ним, делали, если не своим, то уже не чужаком, вломившимся в сложные его дела.

Может, причиной тому было все первое — первый город вне златоглавой, где мне пришлось жить, первый театр, первые месяцы жизни, оторванной от привычного, от родных и друзей.

Может быть: во всяком случае, много лет спустя, когда мне снятся голубые увалы и зеленые распадки, окружающие город, я просыпаюсь с хорошим грустным настроением — хоть это и далеко от меня, но это было в моей жизни, было тогда, когда самое пустяковое ощущение — звенящее дыхание на сорокаградусном морозе, таянье снега, похожее на наводнение, первый весенний запах смолистых сосен, афиша премьеры, освещенная рампа — все выходило с огромным и запоминающимся

знаком плюс. Не говоря уже о встречах, взглядах, улыбках и цветах,— все женщины города были на восхищение молоды, были привлекательны, открыты душой и преданы театру.

В квартире у оджибвея было много ковров на стенах и на полу, главной «мебелью» квартиры были ковры. Хорст заметил, что я удивленно разглядываю их, и пояснил, что все это привез из Ташкента, где раньше работал, а посему будет настоящий узбекский плов, сделанный в настоящем казане.

Денисов взмолился:

— Уймись, чревоугодник! Ты приглашал на уху!

— Будет и уха.

— Ты что, взбесился? Мы умрем от обжорства,— он имел в виду и меня,— с нас хватит ухи.

Индеец только сверкал в ответ золотым зубом.

— Андрей,— обратился Денисов за помощью,— объясни ты этому троглодиту, что нам с тобой приятнее будет прийти на плов завтра, а сегодня обойдемся ухой... Верно?

И он подмигнул. Степап не был женат, а что такое обеды в городской столовой, успел изучить и я.

Я присоединился к его призыву, после чего Хорст открыл морозильник, показал замороженного гуся, величинной со слона, и пригласил на обед, на завтра. Это было убедительно.

Индеец надел на себя передник, вооружился длинным, хорошо заточенным ножом и прошел в кухню разделывать баранину для плова. У плиты колдовал он, жену допускал только к сервировке и раскладыванию широт. Дома он выглядел ничуть не хуже, чем с двумя бледными индианками на плечах в оперетте «Роз-Мари»...

Потом начались ренетиции, где у Денисова была главная роль. Несомненно, он был хорошим актером. Если можно было бы объяснить словами его притягательность, вероятно, театр перестал бы существовать — сцена так преображает людей и, если есть дар божий, так притягивает к себе зрителя, что иначе, как чудом, это и не назовешь. Не одну тысячу лет существует он, Театр, последние годы появились пророки, готовящие ему поминальную, а он, Театр, вроде собирается еще пожить.

Как у классических шутов, у Денисова была какая-то

вечная внутренняя грусть, даже тогда, когда он веселился на сцене и валял дурака. Говорил он чуть замедленно, чуть хриловатым голосом. Большие выпуклые глаза гипнотизировали актеров, это заражало и зрителей, и маленький человек словно вырастал, терялся масштаб соотношения человека с порталом сцены и его партнерами, и перед нами появлялся большой, тяжелый, даже грузный полковник Степан Рябинин. Может, это было только моим восприятием? Может, виной тому была его биография, которую в театре знали все, кроме меня, но я чувствовал в ней что-то необычное? Во всяком случае, даже пожилые актеры относились к нему с искренним уважением, подтверждая мои впечатления — при всех исключениях, в театре отношения складываются в зависимости от того, каков ты в деле.

Тон отношения к нему задавал патриарх театра Аполлон Аристархович Грундовский — фигура, достойная не только упоминания.

Пожилым актером Грундовского назвать было легко — свой актерский путь он начал на заре века. Родом из семьи провинциальных актеров, великих, бескорыстных, кочующих рыцарей сцены. Высок и, несмотря на возраст, строен. Худ и поджар. Волосы, не совсем утраченные в долгих скитаниях и круговоротах судьбы, аккуратно зачесанные, словно приклеенные, украшали самый круглый в мире череп. Грумер театра Василий Гаврилов говорил о его голове как об идеальном органе, созданном природой для париков. Большой мясистый нос занимал большую часть лица с впадинами, словно втянутыми внутрь, щеками. Губы, сложившиеся в «благородную улыбку», вероятно, в начале века, не претерпели за прошедшие годы сколь-нибудь серьезного изменения и выражали некоторое превосходство над окружающими.

Он был славный старик.

Немного занудливый, когда начинал говорить длинными округлыми фразами, с применением давно забытых оборотов и речений. Мы замирали, когда слышали такие фразы:

— И этот господин вдруг начал выказывать мне неприязнь. Я перестал раскланиваться с ним...

Его заносчивость по отношению к младшим товарищам легко объяснялась — все товарищи в театре были для него младшими. Но это случалось редко, только тогда, когда он плохо играл роль какого-нибудь современного рабочего,

что ему было совершенно противопоказано. Скрывая свою обиду на замеченные неудачи, говорил о старом театре, о ролях благородных отцов, переигранных им по всей российской провинции несчетно, и всегда заканчивал свою речь громогласным замечанием, что ни один современный актер не умеет носить фрак. Заканчивал именно громогласно — голос у него был глубокий, сильный, хорошо поставленный, он гордился им и говорил медленно, обстоятельно обходясь с каждой буквой, чем был разительно не похож на всех нас, особенно молодых его товарищей — в это время мы все искали на сцене «неактерские» голоса, виной тому были недавно родившийся «Современник» и первые опыты нового кино начала шестидесятых годов.

Так вот, Грунтовский был подчеркнуто вежлив со Степаном Денисовым, и это доставляло обоим удовольствие.

Высоченный Аполлон Аристархович склонялся перед низкорослым Степаном, протягивал ему руку и добросовестно громко желал здоровья и благополучия так, будто Денисов отправляется на гастроли в пренеподнюю, и от пожелания Аристарховича зависит его драгоценная жизнь. Денисов поднимал к нему курносое лицо и пытался отвечать такими же замысловатыми фразами, таким же поставленным голосом.

На представлении этом всегда были зрители.

Грунтовский никогда не сердился на него и отвечал, стараясь придать своему голосу комнатные размеры. Его речи сводились приблизительно к следующему:

— Вы молоды, Степан, и потому шутите. Но шутите вы не только потому, что молоды, а исключительно для того, чтобы не выделяться среди своих товарищей, которые в большинстве своем производят впечатление легкомысленных людей, я бы сказал, шалопаев. А вы самый серьезный человек из всех, кого мне приходилось встречать в своей жизни, а как вы можете легко вообразить, было их неисчислимое множество...

А мне показалось, что он просто любил Денисова как сына, потому что своих детей не было, и рад был любой возможности поболтать с ним.

Репетиции шли. Через месяц должна была состояться премьера, и за годы работы в этом театре я не помню случая, чтобы что-то задержало работу — декорации, костюмы и все прочее готовилось в срок, и актеры успевали.

Позже, в Москве, я понял всю сладость такого выпуска премьер в назначенный срок. Ты готов к нему! В столи-

це таких высших шиков спортивной формы может быть несколько, и даже премьера может не состояться. Такой роскоши провинция позволить себе не может — обманывать зрителя негоже, перестанет ходить, а дирекция не сможет платить зарплату. Сурово, но справедливо.

Репетиции шли. Я «учился ходить» по настоящей сцене, говорить, смотреть, не размахивать руками, словом, заново учился всему, что успешно освоил за четыре года в институте. Об успехах приходилось молчать. Первое знакомство с театром и с главным режиссером закончилось в сентябре тем, что главный, тщедушный человек с озорными глазами, с бровями, прямо-таки похожими на размах орлиных крыльев и размерами и линией, посоветовал мне спрятать диплом подальше, потому что мне он больше не понадобится. Затем немедленно пригласил меня на сцену, предложил пройтись по ней, поговорить, хоть абракадабру, а он, главный, послушает, как звучит голос, и тогда решит, что со мной делать.

Я начал читать Пушкина, собираясь ошеломить главного, но после первой строфы он остановил меня.

— Нормально, — и покинул зал.

Разговоров о мечтах, творческих планах и прочей бутафории он не начал, сказав только, что театр выпускает двенадцать премьер в год.

И вот настала моя первая. Премьера прошла «нормально». То есть помощник режиссера сосчитал количество занавесов, как говорилось в старину, «опускаемых», актеры аккуратно собрали цветы и разошлись по домам. Получился спектакль или нет, станет ясно через пять спектаклей, объяснили мне корифеи, по количеству сидящих в зрительном зале. На первых пяти обязательно аншлаги — театральная публика не простит себе ни одной пропущенной премьеры, а уж дальше... На шестом спектакле может оказаться и полный зал, и человек пятнадцать, еще сомневающихся в окончательной оценке спектакля.

Денисов играл превосходно, с моей точки зрения. Позже я убедился, что все в театре и зрители считают так же, но его успех никогда не был шумным. Он правился серьезно и глубоко... Но...

Но аплодисменты, цветы и восторги доставались не ему. Для пепящегося успеха всегда нужно немного пошлости, моды или... гениальности.

У него этого не было, но, казалось, это его вовсе не заботит.

Работа сблизила нас, и на следующий день после премьеры, оказавшись оба в театре в силу инерции, так как были свободны (репетиции новой пьесы еще не начались: несколько дней был перерыв, позже бывали случаи, когда репетиции начинались, что называется, внахлест), мы пообедали в театральном буфете, и он пошел проводить меня до гостиницы. Денисов понял, что мне не хочется нырять в свою одиночку и предложил:

— Айда ко мне — отпразднуем твой «день рождения» в театре? Первая роль на профессиональной сцене!

— Самая первая.

— Ну и лады.

Пока мы шли к магазину, он сказал, что закуска будет фирменная — «Веселые ребята», соседи на работе, спектакля вечером нет у обоих — перспективный план определен. В магазине он не позволил мне платить, сославшись на разницу в зарплате, и скоро мы шли по его улице в гору — городок лежал между гор, вернее, облезлых увалов, так что все улицы либо поднимались в гору, либо спускались с нее. Все, кроме центральной, корежили ноги бульжником, криво лежащим из-за морозов и весенних буйных таяний.

Он жил в коммунальной квартире, в большой и светлой комнате. Было чисто и просторно. Ничего лишнего, ничего громоздкого. Несколько афиш на стенах, на них несколько фотографий из его ролей, кровать с деревянной спинкой, превращенная в тахту, маленький столик у кровати, стол в середине комнаты, узкий стеллаж с книгами, платяной шкаф и все.

Дома, отбросив свою сдержанность, он стал стремительным и не очень ловким. Часто впадал в «столбняк», соображая, что же делать дальше, шевелил губами, растягивал в дурашливой улыбке и без того немалый рот, кидался то в кухню, то в комнату с кухни, постепенно сооружая пиршественный стол.

Он допустил меня к секрету изготовления фирменного блюда «Веселые ребята».

Несколько больших луковиц он очистил и разрезал вдоль всего кругляша на тонкие ломтики, и они, влажно блестя, лежали грудой посреди стола на деревянной доске. На некоторых ломтиках словно проступила крупная роса. Было ясно, что Степан — ученик Саши Хорста, но учитель пока еще не мог им гордиться: луковица часто выскакивала из рук, нож соскальзывал с доски, ломтики падали на пол,

он швырял их в рукомойник, они не попадали туда и снова шлепались на пол. Но он старался.

Из кулька он высыпал на блюдо кильки. Долго мыл их в холодной воде, выбрасывая бракованные, и, наконец, слил воду и разложил их в блюде — они легли ровно и серебристо, это ему удалось. Сверху он засыпал их нарезанным луком, присыпал солью и перцем, накрыл другим блюдом и старательно потряс содержимое. Открыл. Кильки, как в водорослях, запутались в распавшихся кольцах лука, засияли еще ярче, на дне стал скапливаться сок. Вторую половину нарезанного лука он помял в холодной воде, отжал тоже посолил и поперчил, и залил томатным соком.

— За твои успехи потом, сейчас --- за начало! — торжественно произнес он со стаканом в руке.

— А я — за твои успехи!

Мы поели килек, ложкой черпали лук с томатным соком — все хрустело на зубах, во рту бушевал огонь и томатный сок гасил его.

— Первая седина появилась в восемнадцать, — без предисловия начал он, понимая, что без вопроса о седине — «Когда и как?» с моей стороны, вечер не мог состояться, — так вот, в восемнадцать самая первая - - ровно один бок, вот здесь слева... — и он показал рукой, где появилась первая седина.

— В начале войны мне семнадцать было, — начал он свой долгий рассказ, — а в восемнадцать с хвостиком я летное училище закончил. Закончил хорошо. Старался. В воздух первым поднялся. Первый «самостоятельный» — тоже я. Мне тогда все время хотелось первым быть. Даже мечтал, что погибну обязательно первым и ребята будут жалеть. Только бы первым!

— А сейчас, — спросил я, - - хочешь быть первым?

Он глянул на меня своими вышуклыми рачьиими глазами, пошевелил губами, пожевал их.

— Не знаю. Точно не знаю... А тогда хотел... В первый боевой, кто первым пошел? Я — Денисов. Комэск взял меня ведомым. «Этого парня, — сказал он, — при себе держать буду, летчиком сделаю, потому что он хочет быть летчиком...»

И повел меня.

Молча дошли до нашей линии фронта, он сказал:

- - Держись!

Прошли и зенитные батареи, все хорошо получалось, я и страха не чувствовал, как на учебных полетах, а под

крыльями — противник. А мне, вроде, как все равно!.. И вдруг начала барахлить связь и сразу — хлопок! — оборвалась, даже фона в наушниках не стало. Вырубился напроочь...

Докладываю комэску в надежде, что односторонняя осталась. Нет, по его ответам ясно, что он от меня ничего не слышит, а у меня вдруг односторонняя проклюнулась — его начал слышать. Думаю, ладно, раз я его слышу, как-нибудь протянем. Настроение испоганилось — хуже некуда, предчувствие какое-то, что плохо мое дело... Какое дело? Какое предчувствие? Ведь не верю я ни в какие предчувствия: а уж когда мальчишкой был — тем более! Только никакое это было не предчувствие, просто я краем глаза сначала привычно зафиксировал беду, а только потом мозгами сообразил — уровень горючего у меня к нулю шел. Вот тебе и предчувствие. Похолодел я. Стрелка, покачиваясь, поль легонько трогала. Кончилось или, во всяком случае, кончается горючее. Заорал в шлемофон комэску, а он ни черта не слышит, что-то свое мне бубнит. На секунду я будто сознание потерял. Ору что есть силы, думаю криком палажу контакт, прерванную связь, а мне комэск в ответ спокойно говорит:

— Держись, Степка! Сейчас нас немного обстреливать будут!

Молотили здорово, а мне плевать на то, что внизу и вокруг меня. Будто успокоился даже, рванул машину вверх, вперед и перед комэском крыльями помахал — «следуй за мной»!

Он как увидел это дело, такое в шлемофон запустил, что не пересказать тебе, чертям бы тошно стало, а я деловито развернул машину и назад, домой.

Он озверел от моей наглости, тоже развернул машину и за мной. Что он мне говорил? Я плакал от обиды, а сам, не отрываясь, смотрел на стрелку — она все еще качалась, не легла. Он два раза машину вокруг меня крутанул. То, что я трус, подонок, сопляк, что я испугался, что я последняя сволочь, что он сам меня на аэродроме расстреляет как дезертира, я слышал от него в разных вариантах. А я тяну машину вверх — думаю, потом планировать буду. Он понял, что я не подчиняюсь, не возвращаюсь на прежний курс, не отвечаю — смирился и замолчал. Это было жуткое молчание.

Перешли мы линию фронта, аэродром завиделся, пошел я на посадку, мотор чихнул последний раз и в пол-

пой тишине я сел. Непривычно было в тишине... Он сел чуть раньше, машину развернул и передо мной нос к носу поставил. Выскочил из кабины, кабуру на ходу рвет, ко мне бежит. А у меня нет сил фонарь сдвинуть. Он вскочил на крыло, рванул фонарь, орет что-то на меня, я ничего не слышу, пальцем на прибор показываю.

— Ноль! — только и смог я выговорить.

Комэск вдруг замолк, выпрямился и волком на подбегавших техников глянул.

— Связь! — еще выдохнул я и отрицательно помахал рукой.

Он опять на техников. Один из них побледнел, руку под козырек и тихо говорит:

— У вас, товарищ комэск, нестандартный бак, у вас горючего в полтора раза больше, чем у младшего лейтенанта.

Мы на «американках» летали и баки их переделывали на наши, под большой запас, а на моей машине еще родной американский стоял.

Ну, как он говорил с техниками, сам пофантазирую, а мне сказал:

— Молодец, сынок! Полетишь завтра со мной!

— Так точно! — говорю, и шлем с головы снял.

Он посмотрел на меня, потом обнял за плечи и повел через поле в столовую, и приказал стакан водки вынуть.

Он первым увидел, что у меня голова наполовину седая. Хороший мужик был...

Стенаи снокойно закурил, улыбнулся мне, видя, что я разволновался:

— Давно было, а хорошо помню. Ну, навались на закуску...

— Ну, а вторая половина? — не выдержал я. Мне казалось несправедливым заниматься кильками, даже если они прекрасны и свежи и светятся перламутром.

— Вторая в конце войны. Я так и был у комэска ведомым. Он нас с «педалькой» летать научил. Чтобы проще тебе объяснить, мы все время машину держали чуть боком к линии полета, будто одно крыло вперед, — и Денисов показал, как идет машина с «педалькой», — если атаку на себя прозевал, может и повезет — «он» целит по линии «хвост-мотор» с опережением, ну и проходит очередь у тебя сбоку, потому что линия твоего полета не совпадает с линией «хвост-мотор», многих он сберег этой «педалькой»... В конце войны сопровождали мы «тяжелых» Бер-

лин бомбить. Отбомбился, и домой, а на нас штук двадцать «мессеров» навалились. Не уберег я тогда комэска, он себя подставил, чтобы меня прикрыть, на глазах у меня венихнул, да и я на решетке домой пришел и опять на поле бензина... Ранен не был, а вот голова вторую половину под страх подставила или еще подо что, вот и побелела... — и он потренил густые волнистые волосы.

— А награды есть? — неуверенно спросил я.

Стенан засмеялся:

— На праздник надену...

Мы засиделись допоздна.

Он рассказал, что после войны кончил театральную студию, не смог устроиться на работу в Москве, поехал на периферию, года три мотался, потерял московскую прописку, последние годы работает здесь.

В Москве только старая мать.

— Ты был женат, Стенан? — спросил я

Он не сразу ответил.

— Почти был... Женщины седины моей боятся... Сначала восторг — ах, как романтично! — а потом видят, что она до сердца... Для молодых я стар, кто постарше — мальчишкой считают... Вот так и сел, как говорится, между двух стульев.

Неожиданно хриплым голосом он зашел:

— В парке Чаир распускаются розы...

Мне было хорошо у него и не только в тот день — мы с ним виделись часто кроме театра, и у меня дома, и у него дома, и у общих знакомых, среди которых Хорет занимал первое место...

В середине сезона, когда редки и вовсе нежелательны переходы актеров из театра в театр, у нас появилась новенькая. Герония оперетты. Она не составила никому конкуренции, так как трунна нуждалась в героние. Но театр дрогнул!

Валентина Викторовна Данько была очень хороша. Южная, горячая кровь делала ее не только порывистой, но прямо-таки клопочущей даже в самых прозаических бытовых проявлениях жизни.

Среднего роста, грациозная, с густыми волосами, свободно спадающими на плечи, с чуть вздернутым носом, красивой и ровной формы; с пухлыми губами, то ли природой, то ли косметикой увенчанными двумя крохотными

родниками — над верхней справа, под нижней — слева. Она всполошила театр. Ей не было тридцати. При хрупком сложении, она горделиво носила полную высокую грудь, с удовольствием показывала не крупные, но ровные зубы, с расщелиной между верхними передними, много смеялась, но мало, очень мало, говорила и больше поддерживала собеседника выразительными глазами — блестящими, глубокими, черными, похожими на масляные.

Все сразу узнали, что она недавно разошлась с мужем скандально разошлась, поэтому бежала в наш город, чтобы в глуши отдышаться и успокоиться. Мужа бросила она. Это известие только подлило масла в огонь того жертвенника, где в ее честь уже запылали разбитые мужские сердца.

В первый же спектакль публика устроила ей восторженный прием. У нее оказался небольшой, но чистый, гибкий и выразительный голос. Театр залихорадило. Но Валентина, вероятно, так устала от прошлых побед и так научилась владеть собой, что сумела, если не погасить страсти, то, во всяком случае, свести их до минимума. Она нашла общий язык со многими женщинами театра, потому что была легка в обращении, а это, как известно, большой минус для любвеобильных мужчин, которым требуется уединение и интим — она все разговоры о себе обсуждала открыто и публично, и скоро не осталось охотников делать ей вкрадчивые комплименты где-нибудь в темноте кулис, тайком от своих суженых.

Это стало большой дозой снотворного для всех нас.

Чего греха таить — я был одним из первых, кто готов был немедленно пасть к ее ногам, если бы она на это намекнула. Она не намекнула никому. Отдыхала.

Наступило затишье, и только изредка, вздыхая, провожали ее мужчины потускневшими взглядами, когда она проходила мимо мужских гримерных чуть подпрыгивающей походкой, словно от избытка природных сил, неуклюже покачивая бедрами. Вздыхали тайком, потому что в походке была какая-то зовущая открытость, как бы приглашение к танцу — а мужчины уже боялись огласки.

Я хотел было сказать, что у нее не было врагов в театре, но... Степан Денисов невзлюбил ее с первого дня. Невысокий, широкоротый, седой Денисов, с мальчишескими выпученными глазами, набычивался, как только видел ее, и не скрывал своего недружественного отношения. Она платила ему тем же — он был явным исключением из ее

ровного отношения ко всем в театре. Они, что называется, «едва раскланивались». Попадая в ситуации, — их было много! — где прослеживались восхищенные взгляды мужчин, Денисов находил нужным брякнуть что-нибудь резкое о женщинах — и вообще, и в частности... Я был свидетелем таких сцен и каждый раз чувствовал, что это похоже на несостоявшийся скандал. Причем игры не было ни с той, ни с другой стороны. Биологическая несовместимость!

Я понял, что такое мрачный Денисов! От его обаяния не оставалось следа. Глаза навывкате наливались кровью и, казалось, такой силы темперамент бушует в нем, что лучше задавить эту стихию, чем дать ей вырваться наружу.

Маленький город невольно сводил их в разных домах по праздникам, где хозяева не догадывались или не обращали внимания на их вражду, и тогда Степан багровел, а Валентина поджимала губы, что тоже не украшало ее. передергивала плечами и фыркала, как кошка.

Что-то подобное случилось и у Хорста. Она пришла с опозданием — умела выбирать время для эффектного выхода. Волосы были высоко подняты над затылком, давая доступ к обозрению красивой шеи, платье с таким вырезом, как у нее, имела право носить, пожалуй, одна она в театре. Общий вздох восторга был задушен ею — игнорируя мужчин, она заговорила с женщинами.

Денисов был на кухне, когда пришла она, по всегдашней своей привычке находить, бывая в гостях, укромные уголки, чтобы не мозолить глаза. Я возился с пластинками на полу, когда увидел Степана, идущего в комнату. Вошедший остановился у двери и замер, никем не замеченный. Он смотрел на Валентину. Смотрел, чуть откинув голову назад, пристально и долго. Потом резко повернулся и, не сказавшись, ушел прочь из дома.

Через месяц по театру прошел нелепый слух, что Денисов был дома у режиссера Б. Б. и просил у него роль в новой постановке. Почему слух показался нелепым? Тому было много причин. Одна из них — многолетняя вражда Денисова и Б. Б. Степан не раз публично обзывал его бездарностью, в спектаклях у него не работал и ждал с нетерпением его ухода из театра, который намечался на конец идущего сезона. Причина вторая — роль, о которой они якобы говорили, совсем не подходила Денисову. Как ни молодо выглядел Степан в свои тридцать пять,

ему не надо было браться за роль девятнадцатилетнего импульсивного морячка, который по ходу действия совершает поступок, почти приведший его к самоубийству.

Как гром, грянул приказ: на роль матроса был назначен Степан, и он же был назначен сорежиссером.

«Спелись!» — таково было единодушное мнение театра, и в этом мнении не было ничего хорошего для Степана Денисова.

Вечером следующего дня зашел он ко мне. Он был пьян, но не так сильно, как хотел продемонстрировать это. Сел, не раздеваясь, — «Я не надолго!» — и сказал, вернее, пробормотал, что он считает меня своим другом и поэтому должен мне кое-что объяснить...

— Почему я это сделал? — многозначительно, приглашая к разговору, спросил он.

— Ты извини меня, Степан, мне это безразлично — раз решил, значит, тебе это нужно...

— Нет, ты выслушай меня...

— Никто тебя ни в чем не обвиняет...

— Врешь. Обвиняют. И все. И правильно делают. Это не моя роль. Алика, Игоря, твоя, кого угодно, только не моя... Но у меня никогда не было такой... Поимасшь? Главной! А я хочу быть первым. Хочу... Помнишь, я тебе говорил, что в юности хотел быть всегда первым, а потом это уснуло? Помнишь? Так вот, проснулось... Хочу быть первым... Хоть один день... Хоть один спектакль... Мне нужно быть первым... Даже не могу объяснить для чего... Нужно! Поимасшь ты такое слово — «нужно»?

— На кой черт это нужно? Ты же цены себе не знаешь!

— Нужно и все...

— Постой, Степан, — вдруг осенило меня, — может, это самое... Ты влюблен?

Услышав это слово, он резко выпрямился, стал трезвым и посмотрел на меня в упор злыми глазами.

— Какой же я осел! — продолжал я, — ежу понятно, что ты влюблен. И ты влюблен в Ва-лен-ти-ну! — по слогам закончил я.

— Дурак! — закричал он, встал и медленно пошел на меня. — Дурак, если ты скажешь еще слово, если ты когда-нибудь скажешь такое слово... — он угрожающе шел на меня.

Мне стало не по себе. Стало страшно, и я тоже закричал на него:

— Ты что орешь на меня? Я видел, как у Хорста ты смотрел на Валентину..

Он остановился, негромко переспросил:

— У Хорста?

И ушел.

Я разволновался не на шутку: бедный Степан, а если кто-нибудь, кроме меня, догадывается об этом? А если Валентина? Ему же от нее житья не будет

За месяц репетиций он стал неузнаваем

— Ты не видел своего приятеля Денисова? — спросил у меня в буфете помощник режиссера.

— Что случилось?

— Сорок минут все ждут его...

— Может, заболел? — спросил я неуверенно.

— Обязательно заболел! — резко ответил он.

Через несколько минут я увидел Степана, неторопливо идущего в репетиционный зал. Он не опоздал на репетицию — «задержался!» Через несколько минут все актеры с этой репетиции были отпущены и ввалились в буфет.

— Черт знает что! — жаловался Аполлон Аристархович.

Он был взволнован искренне и глубоко.

— Этот слонтяй так распустил Денисова, что тот перешел границы вежливости...

— В чем дело? — поинтересовался я.

— Б. Б. сорок минут убеждал нас, что Денисов высокоорганизованный человек и опоздать не может, а явился Степан и заявил, что просто у него сегодня нет настроения репетировать, поэтому он и не торопился, а то, что двадцать человек ждут его...

Аристархыч грустно махнул рукой.

Я чувствовал, что все демарши Степана не случайны, видно, роль не клеится, но чтобы он вел себя с товарищами именно так — казалось мне верхом предательства цеховой чести.

— Опять! — помреж считал своим долгом излить на меня свою неприязнь по отношению к Денисову.

— Что опять?

— Нашлся, ну, может, не очень, но пьян на репетиции, а может, и притворяется, куражится... Лукьянова плачет, ушла с репетиции... Б. Б. глупо улыбается...

А Степан заявляет, что в таких условиях работать не может и смывается домой...

Но это была неправда: Степан не «смылся» домой, а пришел в буфет пить пиво. Вошла в буфет и Валентина, и я впервые за много времени увидел их рядом. Что будет? Что будет? Ничего!

- - Здравствуйте, Валя! — громко и дружелюбно сказал Степан.

— Здравствуйте, Денисов! — она легко протянула ему руку, еще издали, подошла, и они стали оживленно болтать. Я не прислушивался — они говорили достаточно громко, чтобы можно было понять: она в курсе всех событий его репетиций, полностью с ним солидарна и, пожалуй, восхищена им.

Степан был совершенно свободен, независим и трезв. Только глаза его более внимательно, чем обычно, оглядывали всех в буфете, будто ждал он нападения и готов к ответному удару. Никто его не трогал, меня он не замечал и все-таки умудрился двум молодым девчонкам, пришедшим в балет из училища, сказать что-то резкое, что явно поправилось Валентине.

Что все это означало, загадкой уже не было. Вероятно, была справедливой и реплика одной пожилой актрисы:

— Валентина без ума от Денисова, она считает его единственным настоящим мужчиной в театре...

За три дня до генеральной репетиции в театре началась паника. Как развиваются отношения Валентины и Степана, я не знал, старался по многим причинам избегать Степана: я терял друга, и было бы нечестным пытаться разуверить его в достоинствах женщины — она правилась и мне. А паника началась оттого, что Денисов не пришел на репетицию. Посылали курьера к нему домой, его не оказалось, а соседка передала его слова: «Пошел к своим друзьям, чтобы продолжить сегодня то, что вчера славно начал...» Это была неправда — пойти он мог либо ко мне, либо просто на улицу — в театре никто не общался с ним! — а Валентина была на репетиции.

Режиссер с директором заперлись в кабинете, театр словно вымер, я же пошел искать Валентину — она скажет, где Степан и что с ним.

Она сидела в своей гримерной, в одном халатике, пробовала грим для новой роли.

Перед ней на подставке красовался ловко уложенный в крупные завитки светлый парик, множество косметики — тюбиков, баночек, коробок с гримом, — лежало на белой салфетке, а она, пристально глядя в зеркало, медленно расчесывала свои длинные каштановые волосы, чуть отливающие антрацитом. Парик был хуже.

— Это вы, Андриюша? Заходите! — она говорила медленно, параснев и тихо, и сразу обдала меня тягостной атмосферой своей близости: короткий халатик не скрывал ее ноги, да еще не был застегнут на последние пуговицы и распахнут, грудь почти обнажена, и оголенные руки медленно плавали у меня перед глазами. Я видел все сразу. И обонял все сразу — и запах театральной косметики и ее собственный и, казалось мне, ощущал даже на расстоянии горячее дыхание ее тела. И ее голос — мягкий, плавный, совсем тихий, что совершенно не свойственно актрисам оперетты! — они держат голос в чистоте и тональности постоянно. Я старательно искал стул, чтобы сесть от нее подальше, но гримерная была мала.

— Что вас занесло ко мне? — она рассматривала меня через зеркало неторопливо и подробно. Не скрывала, что рассматривает, а скорее подчеркивала, иногда останавливающимся взглядом, что и как она во мне рассматривает.

— Я пришел... — с трудом начал я.

— Это я вижу... — она тихо засмеялась, — мы ведь с вами ни разу и не поговорили... Будьте со мной откровенным, я же старше, да, да, старше вас, — она кокетничала, — даже самые деликатные вопросы со мной можно обсудить...

Она сделала едва заметное ударение на слове «деликатные», а меня бросило в жар, будто она поняла сумятицу моих чувств и мыслей.

— Я хотел спросить о Денисове... — выдавил я.

— О Денисове? — переспросила она, — о Степане?.. Обязательно поговорим, обязательно...

Глаза ее не блестели, они потеряли внешнюю оболочку и стали бездонными и черными.

— У тебя красивые волосы, — сказала она, не мигая, глядя на меня в упор, и уголки ее губ подрагивали.

Я покраснел. Она лгала — мои волосы были дурны, но она говорила не о волосах, она говорила не словами, и я это понял, и она поняла, что я это понял.

— Я тебе нравлюсь? — спросила она, видя, что я собеседник никудышный.

Вероятно, Аполлон Аристархович, прожив сотню лет,

лучше меня смог бы определить, что творилось со мной. Или лучше понять. Разрази меня гром, я забыл о Степане, я забыл, зачем пришел к ней. Передо мной сидела женщина во всей своей природной силе.

— Да! — сказал я и посмотрел на нее без испуга и откровенно.

— Ого! — сказала она, — кажется, в театре есть настоящий мужчина...

Она сказала важные слова! Они отрезвили меня. Они уменьшили меня до размеров пошляка и увеличили до размеров человека. Сразу! Она помогла мне. И на будущую жизнь. Я молча ушел.

Стал избегать ее. Стал избегать Степана.

На сдаче худсовету Степан завалил роль. Как говорится, с треском. Может быть, с громом. Это было так наглядно, что стало неловко, и даже обиженные Степаном в период репетиций готовы были простить ему все, потому что видно было, что товарищ попал в большую беду..

Меня разыскал помреж:

— Дешисов просил зайти к нему!

Он ждал меня.

— Давно не виделись! — мрачно сказал он, но мне стало легче от этих слов. Это были нормальные человеческие слова.

— Плохо? — спросил он.

Я пожал плечами и пытался что-то сказать.

— Молчи,— перебил он,— совсем не плохо... Просто вы все... Ну, те, кто может играть мою роль, не можете простить... А я сыграл ее. Я сыграл... И буду играть...

Он замолчал и ждал возражений. Их не было.

— Ладно, праведник. Молчи... Сам все знаю... Никогда Степан Дешисов не был так бездарен. И так глуп... — неожиданно закончил он.

На следующий день он отказался от роли. Категорически. Письмом в худсовет. Худсовет заседал четыре часа.

Назавтра — еще три часа.

Степан дал согласие сыграть несколько спектаклей на выезде, чтобы оправдать затраты на постановку, но только не в нашем городе.

Прошел еще месяц. Занятый другой работой, я ничего не знал о Степане Дешисове.

— Привет,— сказал он, входя ко мне в гримерную перед спектаклем.

— Привет, Степан.

— Что делаешь после спектакля?

— Ничего.

-- Давай ко мне. Приглашаю на «Веселых ребят»...

— С удовольствием, но, понимаешь, Степан...— я замялся.

— Что тебе, одуванчик? — он деланно засмеялся.— О роли хочешь поговорить?

— Нет. О Валентине.

Денисов побагровел, взял себя в руки или еще как, но совладал с собой. Молчал, словно решая, как говорить со мной, потом легко сказал:

— Не надо о ней... О ней совсем не надо...

Я уже не хотел рассказывать ему о посещении ее примерной, теперь моя исповедь была не нужна.

Остается добавить, что спектакль в тот вечер я сыграл на пятнадцать минут быстрее обычного, за что получил выговор от режиссера.

Степан приготовил ужин, ждал меня. На стареньком проигрывателе крутил пластинки, не торопя с разговорами:

— Отдыхай, труженик!

Помолчав:

— Ешь, труженик, я сыт, тебе приготовил...

Я сидел и ел.

-- Как корова! — сказал я.

— Кто? — Степан с дивана удивленно поглядел на меня.

— Я. Жую и жую... Видел ночью корову? После вына-са? И спит и жует, и всю ночь жует... Медленно жует... Как корова...

У меня было хорошее настроение, и я пытался бол-товней сделать наше общение легким, как прежде.

Но, пожалуй, прежнего разговора вообще уже быть не могло — если белую рубаху постирать с черной — она никогда не станет прежней, белой.

— Дура она! — неожиданно начал Степан.— Она очень не любит неудачи, а я наглядно завалил роль...

Ясно было, что он не договорил.

— И потом... Ты знаешь, что у нас в театре есть настоящий мужчина?

Сердце мое сжалось. Неужели Валентина рассказала ему обо мне?

— Это Сазонов, тромбонист... Знаешь?

Я не знал, что Сазонов настоящий мужчина, но это

выяснилось через месяц, когда Валентина неожиданно уехала с ним из нашего города.

Это выяснилось потом, а тогда я старательно дожевал и небрежно как ровня ему по возрасту, как поживший и познавший, подтвердил:

— Точно, Степан, дура!

Он ослабил свой лягушачий рот и сказал:

— И ты дуралей!

Во мне опять зашевелились угрызения совести, но — выдержка! — подтвердил и это:

— И я дуралей.

Он пересел с дивана ко мне и, продолжая улыбаться, сказал:

— Знаешь, почему она дура?

Я видел много тому доказательств и выбирал повесомее, но не успел — он закончил:

— Она так и не поняла, что я люблю ее...

Он почти незаметно выделил одно слово, и я понял, что он был прав — я действительно дуралей!

АФИШИ, ОБЕЩАЮЩИЕ ЕГО

Дорогой мой читатель, если ты не любишь оперетту, я не стану тебе рассказывать о ней. Нет, нет, я не требую глубокомысленной любви: оперетту можно любить только безотчетной любовью, восторженной, воздушной и легкой, как сама оперетта. Я люблю ее именно так -- я работал в оперетте, я знаю ее кулисы.

Представь себе, что на улице холодный осенний дождь, у тебя небольшие неприятности на работе, ты задолжал за квартиру, и скоро день рождения жены, а вы с ней в ссоре. Представил?

Пригласи ее в оперетту, и ты уверенно махнешь на все муки бытия рукой, будешь про себя подпевать запоминающимся мелодиям, пританцовывать хотя бы одной ногой, чтобы не потревожить соседа, стремительным чардашам, в буфете потратишь последнюю трешку, угостив жену шоколадом, а в глазах будет неотступно стоять мир чудовищно легкомысленных декораций, света, мир прозрачных, быстро высыхающих слез, и ты будешь ловить себя на том, что на лице твоём гуляет улыбка, непростительная для солидного мужчины сорока с лишним лет

Довольно! Если такое не может случиться с тобой, читатель, не ходи в оперетту, я не смогу обратить тебя в свою веру, не слушай меня!

Здание театра в нашем городе, выстроенное в пятидесятые годы, сплошь опоясанное колоннами, с громадными гранитными ступенями, было самым мощным в городе. При случае оно могло выдержать многомесячную осаду гуннов. Может быть, в этом и состоял стратегический замысел архитектора или тех, кто руководил им в те годы?

В этой мрачной крепости резвилась оперетта. Законы архитектуры того времени диктовали и интерьер: фойе было чем-то вроде средневековой залы, а закулисная часть была маленькой и неудобной, и, если верить кинофильмам, смахивала на канцелярию в Ватикане.

Мы не горевали, наша жизнь была на сцене, а не в узких коридорах, где ради экономии горели тусклые лампочки без плафонов, напоминая своим убогим светом коммунальные распри «кому платить» за свет в прихожей. Тогда большинство квартир было коммунальными, как это ни покажется тебе странным, тогда, а это было так давно, люди еще не прятались в отдельные, крепко запираемые крепости, не отгораживались от всего мира так, что с трудом знали, кто живет за стеной на твоей лестничной площадке.

Так вот, коридор и наши гримерные были так похожи на большую коммунальную квартиру, что мы все чувствовали себя в театре как дома, а уж внизу, на сцене, мы ликовали — сцена была большой и просторной, при случае можно было загнать на нее парочку железнодорожных платформ.

Храм искусства в наше время тоже стал плановым предприятием, потому и наш театр должен был выпускать в год восемь оперетт и четыре драматических. Впрочем, эта плановость была необходимостью, так как маленький наш город больше двадцати аншлагов на спектакль не мог выделить просто из-за отсутствия зрителей. Так вот, в каждой оперетте был занят он, Павел Андреевич Двогрушев. Если я скажу, что он был красив, я ровным счетом ничего не скажу.

Мой педагог в институте театрального искусства, профессор, начавший свою бурную жизнь в кафешантанах времен нэпа, говорил так: «Красивая женщина в театре может быть причиной успеха, красивый мужчина — уже успех!»

Старый профессор много театров повидал на своем веку, и у него были основания говорить так, да и я убедился в их справедливости: наш Павел Андреевич был успехом нашего театра!

Его черные густые, красиво вьющиеся волосы, после сорока, а ему было немного больше сорока, стали с проседью, да какой — четкие витки на висках и четкая длинная прядь надо лбом (уже готовый грим для всех любовников всех времен и оперетт!).

Темно-зеленые крупные глаза озорно блестели — он обладал чувством юмора! — и иногда грозно блистали, он был, что называется, крутым человеком, но справедливым.

Как многие замечали и до меня, справедливость сама по себе не бывает: ее надо защищать и отстаивать, а он умел это делать, и тогда глаза его грозно блистали на страх администраторам, дирекции, ретивым работникам месткома и городским властям, пытающимся сделать наш театр своим домашним: «Поставьте эту вещь, жена будет в восторге!»

Он был высок ростом и подтянут. В театр он пришел из армейской самодеятельности, и хоть это было давным-давно, выправка осталась. Крепкий коротенький нос среди был слегка прижат, и это производило в профиль неизгладимое впечатление: «настоящий мужчина», — говорили о нем женщины города.

А если прибавить к этому, что подбородок его был мягко раздавлен посреди ямочкой, и от этого лицо становилось мягче и привлекательней, ты сможешь, хоть смутно, представить себе бесценный клад провинциальной оперетты, Павла Андреевича Двогрушева, нашу радость и гордость.

Я стал болтлив не в меру, особенно, когда говорю о дорогих мне людях. Болтливость проистекает только из того, что я не могу найти коротких и емких слов, чтобы сделать собеседника соучастником моей любви, вот и стараюсь со всех сторон, хоть понемногу, обрисовать мой предмет, чтобы он стал выпуклым и объемным, и ожил в глазах слушающих, так что придется набраться терпения, видимо, к самой сути я перейду не скоро, так как мне следует сказать еще и о его голосе.

О его внешности можно было бы и не говорить, мало ли красивых мужчин, но он был к тому же великодушным актером, что в оперетте трудно считать нормой. О том, что

он прекрасный актер, тоже можно было бы не говорить, но все дело в том, что он был настоящим п е в ц о м.

Дорогой мой читатель, зрительницы нашего города были бы довольны, если бы он просто выходил на сцену (я не ставлю наш город в привилегированное положение: такое бы случилось в любом городе, где есть зрительницы!). А он выходил и п е л, знаешь ли ты, дорогой мой, что значит п е т ь?

Да будь у меня такой голос, я пел бы, говоря с соседями, по телефону, я пел бы, ругаясь в домоуправлении с водопроводчиками, я пел бы даже во сне! Такой у него был голос!

Каждый вечер растроганная публика имела возможность за два с полтиной (правда, не помню, сколько тогда стоили билеты), так вот, скажем, за два с полтиной каждый вечер можно было, немея, закутываться в бархат его тембра...

Это я стараюсь все возможные слова вспомнить и свалить их вкучу разными способами, чтобы только дать тебе, читатель, если уж не представить себе нашего Павла Андреевича, то хотя бы поверить, почувствовать, насколько были влюблены в него мы все...

Честное слово, был он замечательный мужик, талантливый от природы во всем, она на него расщедрилась: жена хвалилась, что и мебель всю он сам сделал, и шить умеет, и даже... шьет ей платья! Фантастика!

В жизни он сильно заикался, а на сцене говорил, как Цицерон. Не знавшие его, злые языки, утверждали, что заикается он для отвода глаз — трудно же поверить, что он само совершенство, вот и заикается для дураков: мол, не завидуйте, и я с дефектом. Так говорили только злые языки, добрые им не верили.

Он был дружен со всеми, и все искали его дружбы. В провинциальных театрах зависть бывает только от недостатка работы и среди посредственных актеров, а у нас работы было всем по горло, да и он был необсуждаемо недосыгаем! Видал, читатель, какие опять ввернул слова, чтобы только подчеркнуть его незаурядность?

Несмотря на разницу лет, пробежавших между нами, я тоже искал его дружбы, а скорее покровительства — не в работе, в жизни: я был новичком провинции.

Гримерные в провинциальных театрах, я уже говорил об этом, это не гримерные в столичных! Уверяю тебя. Три гримерных для мужчины на втором этаже, опоясывающем

коробку сцены буквой «П» — это одна нога буквы: верхняя перекладина — гримерный цех и две костюмерные; другая нога буквы — три женские гримерные. Это на трушу в семьдесят человек! Можно представить, что творится на этом этаже в спектаклях, где занято большинство трушны!

Все сидят сугубо демократично, с той разницей, что в гримерных у актеров младших возрастов количество жителей побольше и зеркала покривее. Сразу у выхода на лестницу была гримерная, где сидел Он — оттуда быстрее можно было добраться до сцены, вот и все преимущество. Я бытовал тогда в крайней по коридору.

Было нас принесано к этому мини-спортзалу человек двенадцать — драматических, ребят из хора и трое балетных, что не помещались со всеми остальными балетными. Благоговейной тишины перед спектаклем трудно было достичь при таком нашествии служителей Мельпомены: все двери были раскрыты, сповали гримеры, костюмеры, взад и вперед носились молодые, подшивая, меняя, выправляя что-либо из костюмов, большинство которых не шилось для спектаклей, а подбиралось из старых, списанных.

Знаменитый театральный «подбор» костюмов, когда с разницей в несколько месяцев пронизательный, без склероза, зритель мог бы один и тот же современный костюм увидеть на тайном агенте иностранной разведки, вооруженном всеми видами современного оружия, и на добром отце семейства, учителе церковно-приходской школы конца века.

Нас это не смущало — хранители провинциальных традиций уверяли нас, что «играет не костюмчик, играет актерчик».

На драматических спектаклях в коридорах было значительно тише, и это лишало театр праздника, но на опереттах мы жили полнокровно уже за час до начала спектакля. Молодые торопились загримироваться и поторчать в дверях «старших», это не возбранялось, а охота была велика. Если Павел Андреевич обладал врожденным чувством юмора и был острым на слово, то комики это качество хранили в себе и деляли, словом держали себя в «тренаже», как одесситы, может, потому, что среди них были родом оттуда, и хотя исколесили всю страну, отыскивая свой лучший театр, свой звездный час, они оставались одесситами, считающими жизнь и все ее проявления ново-

дом и средством для шутки, обязанной увековечить имя автора.

Чаще всего поводом для таких комедий «положений» были наши семейно-коммунальные неурядицы, всегда старший мог сделать выволочку младшему — устроить нахлобучку было нетрудно в такой плотной обстановке, тем более, что молодые, и я в их числе, легко шли на это, провоцируя, подставляя себя под безжалостный огонь комиков и зубоскалов. Это было традицией театра.

— Иду на выволочку! — говорил кто-нибудь из нашей гримерной, и мы высыпали следом, зная его прегрешения и предвкушая суд и смех после суда.

Всем доставалось поровну, и я не был обделен.

Наш комик Михаил Семенович Мусин, скажем, после выездного концерта вызывал меня к себе, и я, окруженный сотоварищами, возникал в дверях их гримерной.

— Дорогой мой! — торжественно обращался он ко мне. Кстати, извини меня, мой читатель, это от него я перенял привычку даже к посторонним обращаться «дорогой мой», как бы определяя вежливую, но предельную по недостижимости грань близости.

— Весь внимание, Михаил Семеныч!

Он прищуривал на меня свои вышуклые глаза:

— Вы посмотрите на него, он «весь внимание»! Почему ты вчера на концерте не мог похвастать этим?

— А в чем дело, Михаил Семеныч?

— Он спрашивает! — изумлялся толстый Михаил Семеныч, легко, вместе со стулом, поворачиваясь ко мне.— Он спрашивает, в чем дело! Это я спрашиваю, в чем дело! Вчера на концерте ты так изуродовал мой титул, что мне стыдно было появляться на сцене... Если бы я знал это заранее, мне было бы стыдно родиться на свет...

— Трудно выговаривать,— оправдывался я.— Вы же заслуженный артист Удмур... Удмурд... Удмуртской республики...

— Не трудись! — гневно обрывал меня комик.— Не трудись выговаривать! С твоей дикцией, с твоими голосовыми данными тебя только в насмешку можно было брать в театр... Ты не выговариваешь все сорок букв русского алфавита...

— Их меньше,— робко возразил я.

— У тебя! Я и говорю, что ты не выговариваешь и половины...

— Что же мне делать?

— Ничего! — благосклонно заканчивает он, — на следующем концерте назови меня... просто заслуженным артистом республики, я не обижусь...

Громче всех смеялся Павел Андреевич, давний приятель Мусина, он знал, как страстно мечтает комик стать заслуженным артистом РСФСР!

Включаясь в эти забавы, на следующем концерте я объявляю Мусина... Народным артистом республики. «Михсём» — так мы тоже звали старших — сиял, был счастлив, трижды бисировал и готов был не уходить со сцены. В последнем номере он работал с Павлом Андреевичем, и тот обещал еще раз повторить публике его высокое звание.

Я объявил Павла Андреевича. Публика зааплодировала. Он вышел и, широко улыбаясь в кулисы, сказал:

— Я рад представить вам еще раз в этом концерте моего друга Мусина Михаила Семеновича, народного артиста... Удмуртской АССР!

Мусин вышел на сцену пуцовой.

— Паша! — сказал он, выйдя со сцены после номера, — месть моя будет ужасна! Это говорю я, твой друг, маленький заслуженный артист Удмуртской...

И начал готовить свою месть.

Каждый свой выход на сцену комик предварял либо громким смехом за кулисами, либо нарочитым покашливанием. Публика узнавала голос любимца и начинала аплодировать еще до его выхода, а он терпеливо ждал, снова покашливал и гордо смотрел на нас: кого еще так встречают?

Но месть его так и не состоялась, он был «побит» Павлом Андреевичем еще раз. На следующем спектакле комик только собрался громким смехом известить публику о готовящемся для нее счастье, то есть о встрече с собой, как из противоположных кулис Павел Андреевич взял такую восхитительную ноту, что публика взорвалась аплодисментами, решив, что и герой-любовник оповещает о себе, и когда на сцену вылетел смущенный Мусин, аплодисменты смолкли, а в зале раздались смешки и шушуканье.

Комик не растерялся, подошел к рампе и стал так удивленно и пристально рассматривать зал, будто отыскивая знакомых, что в первом ряду кто-то засмеялся, смех был подхвачен и закончился аплодисментами зала, то ли понявшего, то ли принявшего актерскую шутку. Но сам Мусин долго не мог оправиться от такого ехидства своего приятеля.

ля, что повлекло за собой неожиданное — несколько спектаклей он выходил на сцену тихо и незаметно, вознаграждая себя аплодисментами после номера. В городе заговорили, что у него появился вкус.

Толстый комик и подтянутый красивый герой были превосходной парой. Город «ходил на них»! В любом спектакле они были спасением, даже в скучных современных опереттах, застенчиво именуемых музыкальными комедиями. Если в них и бывала музыка, то уж комедия и не почевала.

И весь город напряженно ждал, когда Павел Андреевич Двоегрушев уедет из города в какой-нибудь столичный. Город понимал, что такой талант он держит у себя не по чину. Какая превратность судьбы загнала его в этот маленький провинциальный театрик Среднего Урала, как говорится, вдали от проезжих дорог?

О его биографии и личной жизни мало кто знал, и совсем не говорили. В наш театр часто приезжали только что создавшиеся пары, которые убегали от суда предыдущих городов, чтобы, отдышавшись после скандала, пережить медовый месяц. У некоторых кочевка по провинции была затянувшимся свадебным путешествием, с переменой мест и партнеров.

Павел Андреевич был женат лет двадцать, жена его преподавала в музыкальной школе, взрослая дочь работала где-то в Сибири. Жена — вежливая, мягкая и молодая — вызывала только симпатию и никак не могла быть причиной его неудачи. А в том, что это неудача, город, да и театр, не сомневались, каким же еще ветром могло занести в глушь это чудо? То, что он был от природы высоким баритоном, и дирижерам приходилось теоровые партии опереточных героев транспонировать для него на два тона ниже, только подливало масла в огонь, но ничего не объясняло, да и не хотел никто объяснения. Он принадлежал городу, и город мечтал, чтобы это длилось.

Близился Новый год. Четыре месяца я был уже не студентом, а актером Музыкально-драматического театра. Как самого молодого меня прикрепили к местному делать газету. Многих прикрепили — стенная печать была далека от тружеников сцены, как, скажем, термоядерная реакция от цветоводства, как агротехника от директорствования в театре... Впрочем, нет, такому, много позже, я сам был свидетель: в одном столичном театре года три дирек-

тором был... бывший специалист по сельскому хозяйству Западной Сибири!

Но стенная печать действительно была далека от нас, и только скопом мы могли одолеть ее. Павла Андреевича тоже прикрепили — он хорошо рисовал, поговаривали, что в молодости мечтал стать художником.

Мы собрались в репетиционном зале после спектакля. На полу был расстелен прекрасный, плотный на вид, большой по размерам, невинно чистый лист бумаги.

Мы взорвались от восторга и начали...

В течение двух часов мы восхищали и унижали друг друга неумемной фантазией, приняли и отвергли около трехсот вариантов, как сделать газету, разлили несколько банок гуаши — слава богу, не на лист — выкурили по пачке «Беломора», устали, обрели второе дыхание... Не участвовал в наших дебатах только он.

— Мое дело написать, ваше — сочинить! — сказал он в начале работы и сел к окну, уставился в него. Мы не сразу обратили внимание на то, что он все время покашливает и беретя рукой за горло.

— Паша, ты где простыл? — спросил Мусин, тоже включенный в нашу команду как отдел сатиры и юмора.

— Не знаю, — нехотя откликнулся Павел Андреевич.

— Представьте себе, — обратился Мусин ко всем нам, — что завтра у Павла поднимется температура! Что это значит? Это значит, что послезавтра у нас у всех начнется внеочередной отпуск, даже я при всей моей гениальности не удержу зрителя один, и мы будем голодать... — так комик льстил популярности и незаменимости нашего героя.

— Вы ст-только к-курите, что м-можно п-просто отравиться!

Мы выбросили папиросы так сразу и согласованно, как будто это был новогодний отрепетированный номер, а он все кашлял тихо и однообразно, и мы отпустили его домой, попросив написать название. Рука оказалась у него твердой и решительной, и название газеты, алой краской на белом ватмане, вновь подняло в нашей душе бурю восторга. Название было найдено оригинальное, простое и убедительное — «Артист» — так называлась наша газета. Я проработал в театре два года, второй номер газеты мы так и не осилили.

А он ушел домой.

Это было начало, вернее, продолжение его болезни,

продолжение его тайны, но болезнь его была для нас началом.

Новый год на Среднем Урале, в городе, заросшем невысокими тонкоствольными и корявыми соснами, увешанными шапками снега, был так же хорош, как он хорош везде, где его встречают.

Праздники были затяжными и шумными. Культурные точки города — ресторан, кинотеатр и театр — были полны, особенно ресторан и буфеты вышеназванных культурных заведений. Зал театра не всегда был полон, но билеты были проданы все, и буфетчицы цвели.

В новогодние праздники чаще всего давались концерты, чтобы не очень огорчать актеров тем, что большая часть зрителей во время действия в буфете: на концерте это не так заметно, да и отношение менее серьезное.

Небольшой город гулял весь, целиком, как хорошо налаженная коммунальная квартира, и не заметил город, что дважды обещанный в концертах Павел Андреевич был заменен... Что значит заменен? Нельзя было его заменить! Концерт был калекой без него, но с концерта не тот спрос, и город не заметил отсутствия кумира.

Я не задумался над этим фактом всерьез, и уж никак не мог связать это с предпраздничным его покашливанием в репетиционном зале, где здоровые мужики бились за стенную печать — этого надежного помощника в воспитательной работе. Всему виной были праздники.

В конце января все забылось, так как он стал выезжать даже на концерты. Почему «даже»? Да потому, что концерт в маленьком поселке на Урале, километрах в шестидесяти от маленького городка, при почти полном отсутствии дорог, с долгим переездом в холодном, дырявом автобусе, при паличии за окном сорока двух с метелью и возвращением далеко после полуночи — не сахар.

Поэтому «даже» означает, что он был абсолютно здоров, как полярник и космонавт одновременно.

Часто дороги заносило снегом до полной непроезжаемости, поэтому мы выбирались из городка с большим запасом, и если вдруг дороги оказывались проезжими, то у нас оказывалось часа три свободного времени перед концертом. Что оставалось делать? Слояться по какому-нибудь поселку или городишку, высматривая его достопримечательности? Да ведь не в каждом городе Урала есть падающая деревянная башня, как в Невьянске, которую

знают во всем мире, или запруда времен Демидовых, которую не знает никто, кроме древних старцев.

В тот раз было так холодно, что я остался в клубе, хотя опытные актеры уверяли, что в этом городе всегда в магазинах есть клубничный конфитюр. Итак, было холодно, и я остался.

Если ты, дорогой читатель, скажешь, что тебе на даче в Подмосковье в двадцать пять градусов холодно, я не стану тебе рассказывать, что такое холодно на Урале при сорока двух и ветре, валящем с пог.

Клуб еще не был готов к приему высоких гостей. До концерта оставалось два часа, на сцене горела одна дежурная лампочка в шестьдесят ватт при непостоянном напряжении, спрятанная в самом углу, под потолком, так, что, казалось, она там всегда (добраться до нее без пожарной лестницы невозможно!), пыльная и засиженная мухами. Поднятые вверх и привязанные кулисы еще более умрачняли этот сарай с бодрым названием Дом культуры.

Построили, построили, дорогой мой читатель, на том месте лет через пять новый дворец в бетоне и стекле, а внутри с пластиком и плюшевыми креслами, но тогда там были дощатые перегородки за кулисами и скрипящий от старости кривой сценический пол.

По бокам сцены в зале стояли два мощных прожектора, и было ясно, что скоро зал забудет обо всем убранстве сцены, увидев яркие костюмы, горящие глаза актеров и решительный грим, освещенные столь мощными источниками. Я замечал, что чаще всего именно в таких убогих условиях актеры делают то, что и называется «чудом театра».

Показалось мне, что все ушли за конфитюром, и сижу я один, закутавшись в овчинный полушубок, и пытаюсь сочинить письмо домой матери о моей блистательной карьере и завидной жизни, как вдруг я услышал шаги. Услышал и испугался — тихие шаги в полутемном зале, вой пурги за стеной, плюс молодое воображение, сделали испуг осязаемым и вещественным: у меня похолодели руки, и без того холодные, и неприятные пупырышки пробежались по спине снизу вверх.

Действительно, мне стало так страшно, что сидел я тихо, как мышь, нет, скорее, как тень мыши, пожалуй, и того тише: как тень мыши, когда мышь ушла...

Шаги шли от зала к сцене, потом потревожили сцену, и половицы пола, каждая по-своему, ворчали, ругались

и скрипели на те ноги, что их потревожили. Походка была тихая, нельзя сказать, чтобы крадущаяся, скорее, какая-то неуверенная, словно ноги решали, что же им делать и куда идти. Потом они замерли на середине сцены, еще несколько раз поочередно надавили на половицы, словно устраиваясь поудобнее, и затихли. Надолго затихли.

И вдруг...

О, это сладкое «вдруг»! Как часто оно случается, когда мы рассказываем друг другу что-то длинное и скучное и стараемся подчеркнуть им торжественность момента, кульминацию, словом, спекулируем, понимая, что слушатель начал скучать. Тут-то мы и подсовываем это слово, убеждая, что есть еще порох в пороховницах, и не все в нашем рассказе будет так скучно, как до сих пор...

В жизни редко бывают эти «вдруг»! Откажусь и я от него, ибо другого ничего не выдумал, да и к тому же не бывает остановок в нашем сердцебиении, не бывает остановок у той вечной секундной стрелки, что куда-то спешит, таща нас несокрушимым канатом, нет паузы у матушки-жизни, чтобы вставлять эти «вдруг»!

А было так — шаги затихли, и в тишине я услышал покашливание.

Тихое и однообразное покашливание, не узнать его было нельзя. Страх сразу прошел, и стало мне неловко и грустно: ну, в самом деле, в пустом зале посреди сцены стоит взрослый человек и покашливает. Один. Это он думает, что он один... Почти в темноте стоит и покашливает.

Признаюсь, мне не пришло в голову в тот момент что-нибудь высокое и придуманное, на что можно было рассчитывать, учитывая мой возраст и некоторые черты характера: мол, это такой момент, когда художник должен побыть один, когда рождается что-то неповторимое и новое для роли, когда спускается озарение... Не подумал я так, не подумал, хотя тогда-то еще можно было бы... Может, потому, что все мы здорово замерзли и устали от разухабистой снежной дороги, а домой не скоро?

А после покашливания раздались слова:

— Сперва позвольте слово или два...

Да, да, это были стихи, по распевности строчки сразу можно было понять, что это стихи, и услышал я их, сидя за дощатыми кулисами в старом здании, понял, что это стихи, да не сразу понял, откуда, а голос примолк. Потом опять хрипло и тихо:

интонация, или может быть, точнее — ощущение? — ощущение беды, и это было бы грандиозно, если бы это было исполнено, если бы оно не казалось таким правдивым, словно стихи великого поэта только повод для того, чтобы высказать свою беду, свою, и только, не Шекспира, не Отелло...

Такое могло быть и у Раскольникова, и у безрукого инвалида, и у отца, похоронившего дочь, — это не было искусство, это была правда жизни, а она неповторима на сцене: изменись она, и завтра все сыгранное тобой сегодня будет фальшиво и карикатурно, не переживет повторения, как фальшиво переживание человека, забывшего сняться с трагическим лицом у гроба жены и делающего это перед фотографом на второй день после похорон...

Он замолк, последние слова еще тихо уходили по рядам в дальние углы зала и там забивались в щели, а я тихо вышел из-за перегородки и встал за его спиной. Я пугаюсь, когда меня кто-то, шутя, резко окликает сзади, поэтому и себя отучил от этой дурацкой привычки. Я тихо кашлянул. Он даже не вздрогнул — армейская закалка! — а тихо спросил:

— Кто здесь?

Спросил тихо и нараспев.

— Кто же еще может быть, с-свои! — мое волнение от всего случившегося неуклюже пробралось сквозь буквы слов.

— П-по шее п-получить хочешь? — спросил он.

— Я с-случайно п-подслушал! — у меня зуб на зуб не попадал.

Он засмеялся и опять нараспев, чтобы не заикаться, сказал:

— Не за подслушивание, а за передразнивание!

— Замерз я п-просто, Павел Андреевич!

— Ты решил, что я спятил?

— Конечно. Стоит Павел Андреевич и вместо того, чтобы петь — читает. Ясно, что спятил...

— Врешь ты все. Не думал ты так... Сигареты есть?

Казалось, он был рад моему вторжению. И я рад был встрече с ним, такой неофициальной и таинственной.

Мы пошли за дощатую перегородку, где до того сидел я, угостились моими сигаретами — он не курил! Раньше не курил!

Он размотал шарф, повязанный на шее, опустил во-

ротник демисезонного пальто — здорово был закален, и уральские морозы мало волновали его, что тоже подчеркивало его незаурядность.

И он начал говорить. Я не просил его, он сам захотел поделиться своим горем. Он рассказал, что у него плохо с горлом, или со связками, плохо давно. Несколько раз, несколько лет назад было совсем плохо, потом полегчало. Врачи придумали какое-то в высшей степени латинское название, а как от него избавляться — еще не придумали, но за всеми его словами, за всеми цитатами из разговоров его врачей угадывался страх — не та ли это болезнь, что мы боимся даже называть и понимаем друг друга, как только говорим: да, да, у него э т о... Тем более, что врачи давно грозили ему возможной операцией...

— А что, если не делать операции? — спросил я.

— Петь скоро не смогу... Петь не смогу... Не смогу... Одно воспоминание от голоса останется, объедки... Вот и думаю, а не податься ли мне к вам в драму? Для нее моих объедков хватит... Возьмете? На какие-нибудь характерные роли, похриплю и ладно... Возьмете?

Из начала рассказа, наверное, помнится, что в театре было две труппы? Так вот, по рождению в институте я был драматическим, а по иронии судьбы стал еще и опереточным актером, приписали меня к простакам, и стал я завсегдатаем балетного класса и бедой концертмейстеров, обязанных готовить партии певцам будущих спектаклей. Каким я был певцом, можно вспомнить только в кошмарном сне. Для простака оперетты, впрочем, не это главное...

— Так как, возьмете?

Ах, бессознательная привилегия молодости: не задумываться всерьез над чужой бедой, словно огорожены они друг от друга, беда и молодость, барьером несовместимости, ведь своя-то беда всегда ближе, что нам до чужой?

Молодость любит себя, ей это прощается, но многие считают, что себя любить всю жизнь — безнравственно, да только не меньшие в своем убеждении это качество хранят и оберегают всю жизнь. своя беда всегда ближе и важней всего и всех на свете. Я не был исключением. Не задумавшись всерьез над его бедой, а только услышав это шутовское «возьмете меня к себе?», возликовал как уравненный в правах с ним, столпом нашего театра, стал уговаривать его немедленно переходить в драму, думая, что тем самым помогаю его печали, облегчаю ее, не по-

нимая, что соглашаюсь с окончательностью его беды.

Я так рьяно возвышал драму, что оперетта, доставившая мне столько радости, оказалась золушкой, чернавкой, вторым сортом, прислугой великого искусства драмы. Убеждая его переходить в драму, я полагал, что возвеличиваю его, поднимаю, хотя бы словесно, талант его на бóльшую, чем прежде, высоту, но слушал я уже только себя, говорил восторженно, убедительно, восторгая и убеждая самого себя, а он сидел, отвернувшись, слушал, посмеивался и курил. Я разошелся до того, что стал составлять его репертуар на ближайшие годы.

Пел он в этот день замечательно и много, и я подумал, что он разыграл меня, с таким голосом можно петь сто лет и не кашлять.

Тот вечер стал быстро забываться, шли спектакли, гремела музыка и аплодисменты. В дни зарплаты музыка гремела больше, нежели того требовал композитор, потому что медная группа оркестра состояла из сильных мужчин, не дававших обета трезвости. Регулярно заседал местком. Нерегулярно менялась погода, чаще всего вопреки календарю. Когда в середине мая выпадает глубокий снег, скрывая сочную буйную траву, сразу понимаешь, чем Урал отличается от Подмосковья.

Все было нормально, и афиши театра, яркие и узывные, как на нижегородской ярмарке времен Островского и Андреева-Бурлака, каждый день обещали его, Павла Андреевича, и он каждый вечер пел, хорошо пел, азартно, щемяще — какая оперетта без мелодрамы! — много пел. Не отказывался бисировать, не отказывался от концертов. Пел.

Так мы закончили сезон и разъехались, кто повидать родственников в центре России или за Полярным кругом, кто в томную и сытую Украину, кто к теплему морю, погреться на солнце, наглотаться соленой воды и оставить в благословенном месте все сбережения за год.

В начале сентября открылся новый сезон, и в первом же спектакле, со второго акта, он не смог петь. Голос пропал.

Дня три никто ничего не знал, вернее, все молчали, молчал и город; провинциальные города умеют быть тактичными и бережливыми к своим людям. Город молчал, и зрители продолжали самоотверженно ходить на спектакли без него. Спасибо им за это! Но все понимали, что так больше продолжаться не может, и когда через неделю стали срывать с театра афиши с его именем, мы поняли, что на-

ше дело плохо, так как его дело, очевидно, очень плохо.

Он уехал лечиться в Москву.

Осенний листопад разгулялся вовсю, осень была прозрачной и чистой, и так засыпала ступени нашего театра разноцветными листьями, будто готовила эскиз декорации нового спектакля. Ты думаешь, читатель, что я подсовываю тебе яркое описание осени, чтобы отвлечь от главного? Нет! Эти листья были свидетельством трагедии нашего театра: свежие и непорочные листья на ступенях — первый признак того, что по ступеням мало ходят.

Мы «горели». Никакие замены не спасали нас от пустых залов. Новые имена, лихорадочно создаваемые, никак не хотели создаваться.

Через месяц прошел слух, что Двоегрушев вернулся, и вечером, гримируясь, я услышал в коридоре его голос. В пьесе занято было всего пять человек, и он, здороваясь со всеми по очереди, наконец дошел до моей гримерной, где сидел я один — орава балетных и хористов не занята была в спектакле.

— Ну, как, горите? — спросил он вместо приветствия.

Я обрадовался ему, было у меня какое-то щенячье нежное преклонение перед ним. Радость моя выразилась в том, что я тоже вместо приветствия попытался острить и выказывать равнодушие:

— Да нет! Не горим! Сегодня на меня пришли... Я восходящий...

— Я всегда в тебя верил, — серьезно сказал он.

Не отрываясь от грима, я украдкой разглядывал его: он был другой, совсем другой. Он не снял пальто, только расстегнул его, плечи словно потеряли свою ширь и горизонтальность — сузились и поникли. Глаза были полуопущены, отчего виднее были длинные, как говорят, пушистые загнутые ресницы. Мелочами трудно объяснить, что произошло с ним, одно было ясно: человек нездоров и, пожалуй, больше всего душевно, потому что голос его звучал почти так же, как прежде. Почти так же, как прежде, — была в голосе усталость и притушенность, словно на прозрачное чистое стекло пал иней или заволокло его паром. И еще: он, всегда стремительный, был малоподвижен — как встал в дверях, так и остался.

Я повернулся к нему.

— На меня сегодня восемнадцать человек пришло. Он удивился.

— Не врешь? Я такого не припомню...

— Вчера было двадцать четыре. А неделю назад — двенадцать на «Голубой мазурке». А на сцене пятьдесят... Как у вас дела, Павел Андреевич? Вылечили?

— От заикания...

— Точно! Как же я не заметил... — я радовался почти искренне, поняв, что дело плохо. — Когда же приступите, так сказать, к исполнению?

— Зайди ко мне после спектакля... Про Москву расскажу... — его предложение было неожиданно, польстило мне, никогда прежде не было у нас такой близости, и я сразу согласился.

Он ушел — нервный, беспокойный и в то же время какой-то заторможенный, не прощаясь, ушел. Со спины было видно, что он здорово похудел.

Дома у него пахло лекарствами, жена смотрела на него как на больного ребенка, старалась не раздражать, старалась делать вид, что ничего не случилось, но от того, что она старалась, я видел, что любое ее слово, любая забота ему в тягость.

Словно меня очень волновало, что происходит в Москве, он длинно и вяло рассказывал о премьерах, о последних сплетнях и анекдотах, и только потом рассказал, что с ним: операции не было, петать нельзя, месяца два, по возможности, молчание и микстуры, потом опять в Москву на консультацию, а что потом — неизвестно.

Невеселый был вечер.

Два месяца он старался не бывать в театре, не приглашал меня к себе, старался не бывать на улицах: в нашем маленьком городке, где почти все знали друг друга, он — такая знаменитость — не мог быть не замечен, и совершенно незнакомые люди, из самых хороших побуждений, обращались к нему как к хорошему знакомому с расспросами о здоровье, с сочувствием, что было хуже всего, и только досаждали ему.

Потом он уехал и как-то совсем незаметно вернулся. По городу прошел слух, что ничего не вышло, что он больше не певец, что он запил горькую. Я не выдержал и без приглашения пошел к нему домой.

Не понял я, был ли он пьян, но был явно раздражен. У рта залегли тяжелые складки, он был небрит, щеки ввалились, от былой мощи и красоты и следа не осталось: передо мной сидел сгорбленный, немолодой, желчный человек. Говорил он, не глядя в глаза, да почти и не говорил, только что-то хрипел сквозь зубы, и когда я спросил, может, мне

уйти? — он лаконично и твердо кивнул головой. Обиженный таким приемом, огорченный за него, я ушел.

Дня через три я встретил на улице его жену, она сама подошла ко мне и сказала, что Павел просит зайти к нему. Я усомнился, но она так коротко и точно повторила приглашение, что я понял: не она старается смягчить наш последний разговор — вернее, мой визит — а он сам действительно хочет видеть меня.

Он был трезв и подтянут — почти как прежде, не хватало только налитости мускулов и выправки — он стал худым и легким, особенно худой показалась мне шея. Сам, без вопросов с моей стороны, рассказал, что было: ни черта микстуры не помогли, говорить еще можно, петь нельзя, может случиться то, что было тогда, на спектакле.

Меня все-таки прорвало, как ни старался я сдержаться, понимая, что только доказываю ему его болезнь: я вспомнил и тот клуб, и как он читал Отелло, умоляя его идти в драму. Он поддакивал, строил вместе со мной какие-то планы, расспрашивал меня — а в каких спектаклях он мог бы играть? — но говорил вяло и скучно. Наконец, я увидел, как он устал, и я стал прощаться.

— Да, да,— заторопился он.— Я ведь позвал тебя, чтобы именно попрощаться...

Он протянул мне руку, я растерялся.

— Как «прощаться»? — удивился я.

— Опять в Москву. Соглашусь на операцию.

Я ойкнул.

— Что испугался? На операцию...

Часто излишняя забота бывает бестактной. Хоть и заботливо, но некстати я спросил у него:

— Сколько шансов?

— Черт их знает... Может, ни одного...

Улыбнулся он тоскливо и снова протянул мне руку. Я спрятал обе за спину, как упрямый школьник, и опять забубнил свое:

— Может, все-таки, в драму? Без шансов, наверняка, драма... ведь это... тоже... и даже... словом...

Он обнял меня за плечи и, подталкивая к выходу, улыбаясь, говорил мне:

— Нет, малыш, лучше уж так... не могу я тебе объяснить... Сколько себя помню — я пел... Понимаешь? Пел! Когда мне было хорошо — я пел, когда было плохо — пел еще больше, когда было плохо другим — я пел... Я родился таким. Понимаешь, кто-то дал мне голос, может, какой-

то предок? Мать с отцом диву давались, когда я запел... Они сами говорили-то коряво, куда им было петь... А я певец... Тебе не понять, что это не профессия... Это характер мой, душа моя, жизнь моя... Все пустые слова, не могу я тебе объяснить... Пусть у тебя никогда не будет такой муки, но если ты поймешь, кто ты, будь им до конца, не изменяй себе... Лучше уж ничего, чем изменить себе... Есть такое слово — призвание, уж кто там призывает, и почему так люди говорят — я не знаю, но ведь все говорят: «призвание», так уж, если призван, отвечай тому...

Он выпроводил меня и уехал.

Следом за ним, немного позже, уехала жена, и они не вернулись в наш город, во всяком случае, в течение следующего года, пока я работал в маленьком провинциальном театре города N.

РИСУНКИ, СДЕЛАННЫЕ ГРИМОМ

*Л. К. Сенченко — актеру и певцу.
В. И. Илюшину — ветерану
Великой Отечественной войны.*

I.

Между утренними репетициями и вечерними спектаклями в любом театре всегда наступает затишье. Длинные коридоры пусты, двери гримерных распахнуты настежь, в гримерных шторы задернуты, но открыты окна, чтобы проветрить комнату. Редкие люди в коридорах в эти часы — это костюмеры, разносящие по гримерным костюмы для вечернего спектакля.

Чаще всего — это женщины преклонного возраста, добрые и заботливые, которые появляются неизвестно откуда и так же тихо уходят из театра, когда приходит срок. Последнее время конкуренцию им составили совсем молоденькие девчонки, не понавшие в театральный институт и решившие год переждать в театре, поближе к сцене.

Они будут поступать и год и два, некоторым выпадет счастливый жребий, другие останутся работать в подсобных цехах театра, приобретя профессии. Впрочем, не так легко определить, кому выпал счастливый жребий —

тем ли, кто поступил в театральный, окончит его и годами будет ждать своего часа, или тем, кто оставит в себе любовь к театру как сладкую мечту детства, а в реальной жизни займется делом, полезным для других, и со стороны будет наблюдать мечущихся всю жизнь служителей Мельпомены.

Редко в такие часы появляются в театре актеры — только уж, если что-то задержало после репетиции, а вечером спектакль, и домой через всю Москву ехать не резон, а можно полежать в гримерной или со своим собратом-бедолагой, тоже застрявшим в театре, посидеть на широком диване в коридоре, покурить, поболтать, помолчать.

Чаще всего дело ограничивается курением и молчанием, если не врывается кто-нибудь неумный — профессионал-рассказчик. Двое обычно молчат.

Говорить не о чем — плотная семейная обстановка создает такую атмосферу, когда все почти всё знают друг о друге и, как правило, случается, что это «всё» ничего не говорит о человеке, а вот маленькое «почти», оставшееся за ним, так заполняет его душу и помыслы, так далеко от театра и мнимых его сложностей, что получается вроде матрешки — сидит в человеке другой человек, только, в отличие от матрешки, совершенно не похожий на свою оболочку.

Перед премьерами такого затишья не бывает, актеры днюют и почуют в театре, да только случается это в столице редко — три-четыре раза в год.

Эти часы затишья оглушали меня, проработавшего несколько лет в ином ритме, в провинции, где каждый месяц премьера! — поэтому я старался реже бывать в театре в такие часы, чтобы они не поработили меня своей тягучестью и ленью. Иногда дела заносили в театр именно в это время и не всегда дела общественного порядка, чаще корыстного — перешить брюки в нашей пошивочной или в столярном цехе выпилить ножку для разваливающегося кресла.

В этот день в коридоре на «нашем» этаже — на мужском этаже, где собраны почти все мужчины-актеры, кроме заслуженных и народных! — сидел мой приятель, одногодок, сидел и блаженно курил.

— Что занесло? — издали поприветствовал он меня, зная, что вечернего спектакля у меня нет. — Садись, покурим.

Посидели, подымили.

— Тихо, как в монастыре! — сказал я

Он хмыкнул, сдвинул густые «цыганские» брови, косо посмотрел на меня, как бы прицеливаясь к разговору

— Похоже...

— Конечно, похоже. Тихо. По бокам — кельи, на нашем этаже — мужские кельи, ниже этажом — женские...

Я говорил вяло и не ждал поддержки.

— Похоже, — вновь поддержал он, — только вот с уставом монастырским будет похуже...

— Пожалуй!

Но даже это предложение, дающее простор, ну, скажем, фривольным разговорам, не разожгло костер нашего вдохновения — разговор не клеился, мы молчали.

Но он, видимо, проходил по каким-то лабиринтам своих мыслей и неожиданно наткнулся на что-то значительное в памяти:

— А ты знаешь, Андрей, — вдруг оживился он, — что под Львовом лет сто назад монахи учудили в одном монастыре?

Несколько месяцев назад театр был на гастролях во Львове, все легенды города стали общим достоянием, но я не помнил, что учудили монахи и кивнул ему ободряюще:

— Давай!

Игорь за темные глаза и волосы, за белоснежные зубы, какие теперь бывают только у тех, кто полностью их сменил, в театре был прозван «Цыганом». Он знал множество историй, любил рассказывать их, рассказывал хорошо и азартно, потому что все они приключались с ним — проверить правдивость его историй никто не мог, хотя, если сложить их вместе, человеку, пережившему их, должно быть лет двести, не менее, но скептикам не давали воли — «Пусть сочиняет себе и нам на здоровье, пусть врет, лишь бы интересно...» Просто это был выход не реализованным театром возможностям Игоря.

— Помнишь женский монастырь, куда нас на экскурсию водили? — продолжал он.

Я не помнил и даже не слышал ничего о женском монастыре, но утвердительно кивнул, и он рассказал мне замысловатую и романтическую сплетню о монастырях — мужском и женском, об изобретательности монахов и монашек ради обретения мирских радостей.

Я не стал ловить его на неправдоподобных деталях — лучше сочинять и слушать такие истории, чем в сотый раз

обсуждать очередное распределение ролей и необъективность художественного руководства.

Через неделю мы с ним вновь говорили о монастыре, но начал разговор я и говорил, волнуясь, и, как бы поточнее определить? — пожалуй, с азартом удачливого детектива.

А вот с чего началось.

Зритель так привык к условностям театра, — вернее, мы его так приучили! — что грим, вслед за декорациями, стал сходить на нет. Даже мужчины гримируются «косметически» — взбить немного волосы, в крайнем случае положить освежающий тон — и все! Парики и бороды все меньше и реже появляются на сцене, только в исторических пьесах, а, если вы в современной постановке увидите актера в бороде, знайте — она его собственная и отпустил он ее, чтобы сняться в трех сериях нового телевизионного фильма. Даже костюмы стали условными, а если появляются в стиле прошлых веков, получают модное название «ретро» и видоизменяются до неузнаваемости. Постепенно отпала нужда в личных коробках для грима — порастерялись, поломались, ушли во вторсырье, и уж если актеры гримируются — к их услугам примерный цех.

А всего лет десять назад у каждого были свои коробки для грима, и считалось несерьезным делом иметь покупную, картонную — всеми правдами и неправдами заказывались у кого попало коробки из нержавеющей стали, с глубокими отделениями для множества тонов. Были они увесисты, просты и вместительны — содержимым одной коробки можно было загримировать для съемок обе армии для Бородинского сражения, а при необходимости и пользоваться ими в рукопашной. В отделении для кисточек — было в них и такое — узкое, вдоль всей коробки! — лежали настоящие колонковые кисти и вместо пуховок задние заячьи лапки. Ими удобно накладывать на грим пудру. Откуда такое количество заячьих лап появлялось в театре, вполне могло заинтересовать телевизионную передачу «В мире животных».

Так вот у Цыгана, моего приятеля Игоря Кузьмина, у одного из немногих в театре сохранилась именно такая увесистая коробка. Он берег ее, никому не давал, впрочем, желающих и не было, уходя из театра, сдавал на хранение в примерный цех, дорожил ею не из скарденности, как выяснилось позже.

На коробке была наварена бронзовая ручка, в углу красовалась замысловатая монограмма.

Когда я говорил, что в театре о человеке знают почти все, то есть ничего не знают — это был как раз тот случай: с Игорем я знаком еще с института, много лет мы работаем в одном театре, но эту уникальную коробку я никогда не видел вблизи.

В тот день, он сидел в своей гримерной у столика, штора на окне была задернута, лампочки над столом ярко горели — войдя в гримерную нельзя было определить, что за окном — вечер или день?! Актеры создают себе вечернюю обстановку всегда — привычка играть спектакли по вечерам, почему все утренние и кажутся «ненастоящими», а «утренниками».

Он сидел, склонившись над своей коробкой, и что-то колдовал там.

— Привет Федору Волкову! — сказал я, входя к нему.

Этим приветствием я давал ему понять, что гримом в таких коробках пользовались во времена великого Первого Актера, да к тому же на периферии, где-то в Ярославле и тыщу лет назад.

— Привет халтурщику! — парировал Игорь.

Он знал мою нелюбовь к гриму, особенно к лаку, коим мы клеим усы и бороды. Во-первых, он резко пахнет, во-вторых, если гримерша слишком старательно приклеит парик, после спектакля придется отдирать его вместе со своими волосами, полчаса отмывать их одеколоном и, выходя из театра, возбуждать зависть обитателей двора, обдавая их животворным запахом «Тройного».

Я ходил по гримерной, посматривал, что он там колдует над своим сундуком из нержавеющей стали.

— Давно не был в деле! — сказал он, кивая на коробку и чему-то улыбаясь, и показывая при этом неправдоподобно белые зубы.

Костяной лопаточкой он снимал запыленные слои цветного грима и обнажал их в яркой первозданности: ярко-голубые, зеленые — для подводки глаз, бордовые, карминные — для губ и румянца.

— Ты, пожалуй, и забыл, как им пользоваться? — спрашивал он, склоняясь низко над столом, чтобы лучше рассмотреть свои богатства. Игорь был, что называется, крупного телосложения, но руки у него были почти миниатюрными, и он изящно и неторопливо длинными пальцами орудовал костяной лопаточкой.

Откиннутая крышка мне хорошо была видна, она привлекла мое внимание тем, что была не блестящей, как

положено нержавеющей стали, а цветной, затуманенной, словно чем-то расписанной, но не явственно. Свет от лампы лег на крышку так, что она перестала бликовать, и я различил какие-то мелкие рисунки, разбежавшиеся по всей ее внутренней стороне.

— Ну-ка, ну-ка! — потянулся я к нему. — Что это такое? Покажи, если не секрет!

Он откинулся на стуле и повернул коробку ко мне, чтобы удобнее было рассмотреть.

Вся внутренняя стенка была расписана непривычными для глаза красками. Рисунки были мелкие, почти микроскопические — букет ярко-голубых незабудок, изящно изогнутые пальмы, профиль Мефистофеля, как принято изображать его в театре после Шаляпина, угол средневекового замка или монастыря — и все яркими красками, без полутонов. Вся картина в целом, точнее, вся галерея картин была словно под пленкой.

— Твоя работа? — спросил я удивленно и восхищенно. Он заулыбался и закивал, как китайская игрушка. Здоровый мужик с крепкими руками, как дитя, любовался своими едва различимыми миниатюрами. И было, чем любоваться — линии были точны и изящны, а веселая гамма красок радовала глаз.

— Неведомый шедевр! — продолжал я. — Известная манера, неизвестного автора. Чем работали, маэстро?

Он улыбнулся еще шире и хитро прищурил на меня глаза — «Угадай!» — не стал томить и показал... на свою коробку:

— Гримом. Вот этими тонами и кисточкой, а сверху — нашим лаком для бород и усов, что ты так любишь...

То ли увидев мое недоверие, то ли решив довести мое восхищение до апофеоза, он прямо на поверхности столика — а столы у нас покрыты пластиком, — несколькими точками разных тонов, набросал цветок, вернее, слепил цветок, взял пузырек с лаком и, едва касаясь кисточкой — лаковкой! — легонько замазал рисунок, и очередной шедевр был готов — лак сохнет быстро!

— Первый раз вижу такое... — начал было я и осекся.

Что-то смутное шевельнулось в памяти, остановило категорическое утверждение. Я подумал, что не могу утверждать, что такое вижу в первый раз, потому что я видел такую технику рисунка, точно, видел и основательно видел, но давно. Может, в детстве? Нет, исключено — мое детство прошло в атмосфере, чрезвычайно

далекой от театра и прочих художественных ценностей!

Пожалуй, неожиданное вторжение в память несколько оглушило ее, и она отказывалась давать информацию, как иногда мы мучительно заставляем себя вспомнить мотив самой популярной песни и не можем, пока что-то не щелкнет в голове, и мы с облегчением говорим — «Да вот же...»

Он не распознал моего волнения в короткой реплике и продолжал:

— Дядька меня научил. Был он и актером, и режиссером — эдакий вечный скиталец по периферии, оседать не желает, хоть уже и в возрасте... Научил он. Но рука у него покрепче моей — перед войной он метался, что выбрать — Театральное или Суриковское? Ну, как говорится — выбрала война.

Я так внимательно слушал его, так заинтересованно рассматривал рисунки, так изумленно качал головой и неподдельно восхищался, что он милостиво добавил:

— Как-нибудь принесу в театр его коробку с гримом. Дядькину! Оставил на память! В два раза больше этой — картинная галерея. Лак потемнел, но разобрать можно.

«Мотив забытой песни» все еще не давался мне, а восхищение продолжало изливаться.

Он воодушевился от моих слов.

— Свободен?

-- Как птица!

— А какого черта мы торчим здесь? Идем ко мне. Погода приличная — пройдемся до зоопарка пешочком, заодно птиц посмотрим, а там до меня — рукой подать... Покажу тебе дядькины шедевры...

Предложение было заманчивым, и я согласился, тем более, что поиск пропавшего мотива начинал изводить меня.

Мы пошли в Волков переулок, мимо зоопарка, где сквозь ограду полюбовались на диких кряковых, что пристроились вне заморского штата на дармовщинку и никуда зимой не улетают.

Его однокомнатная квартира с трудом выдерживала все то, что он на нее обрушил — бордюры всех потолков был отделан тончайшей лепниной, стены украшали бра самодельных конструкций из деталей старых бронзовых украшений, такие же подсвечники для пяти и более свечей, потолок в кухне расписан под старинный плафон, вдоль стен кухни — рисованные шпалеры — и все это в однокомнатной квартире в доме-коробке, выстроенном в шестиде-

сятые годы, чтобы поскорее вытащить людей из подвалов.

Квартира была похожа на мини-музей, мини-замок, но вкус хозяину не изменил — она казалась цельной, уютной, располагала к себе.

Но экскурсия по дому была непродолжительной, можно даже сказать скоротечной, и я потребовал «дядькин шедевр».

Коробка оказалась огромной и разукрашенной не только внутри, но и снаружи.

Цыган был прав и самокритичен в своих признаниях — да, техника была та же, но рука дяди — точнее, неожиданнее, это была рука художника, сумевшего в миниатюре, сделанной таким непривычным способом, передать подлинность не только замысловатых веток и цветов тропических растений, но и целых жанровых картин и портретов.

«Забывтый мотив» звал меня в поиск, но когда я действительно нашел то, что искал, то, что сразу подсказало мне — где и когда я видел подобные рисунки, — я растерялся.

Я не торопился говорить Игорю о своем открытии, стараясь как можно больше узнать о его дяде, чтобы до конца удостовериться в возможности такого совпадения, когда мне случилось связать смутные воспоминания с реальностью — на расстоянии в тысячи километров и годы жизни, я встречал явственный след того же человека...

Вот, что я узнал.

Леонид Кузьмин, дядя моего приятеля, не успел стать актером, не успел стать художником, — хотя одинаково легко мог стать и тем и другим, — потому что ему пришлось стать солдатом.

Кто и когда научил дядю, будущего — после войны! — актера и режиссера, писать миниатюры актерским гримом, как бы соединяя два великих ремесла — оставалось загадкой.

На фронте такому вряд ли научишься.

Среди картинок на внутренней стороне крышки я внимательно рассматривал ту, что открыла мне потаенную дверцу в кладовые памяти двадцатилетней давности.

— Цыган! — сказал я почти торжественно, чего всегда боюсь, настолько в наше время это выглядит фальшиво, но моя память соединила такие давние и неожиданные точки, что давала мне право на некоторую высокопарность. — Тебя одного в роду так прозвали, или есть еще кто-то?

Он рассмеялся:

— Я тебе столько всего рассказывал, неужели это забыл рассказать? Моего дядьку, этого самого — художника, тоже звали Цыганом. Вон его портрет. Похожи?

— Я думал — твой портрет!

— Меня потому и прозвали Цыганом, что был похож на дядьку, сначала в семье, потом в школе, потом и до театра докатилось...

— Значит, дядьку звали Цыганом. Еще вопрос — после войны он работал на периферии?

— Он всю жизнь там...

— Хорошо. Конкретнее — работал ли он на Среднем Урале в городе N.? — почти по слогам спросил я.

Я не спрашивал, я был уверен и требовал его подтверждения.

Он согласно кивнул головой:

— Работал. Года четыре...

— Ясно. А тот, кто научил его этой технике письма — гримом и лаком, — был гримером?

Игорь замялся:

— Не знаю. По-моему, нет. Он был актером...

Я сник, но ненадолго.

— Ладно. Потом уточним, может, в самом деле что-то не так, и весь мой карточный домик сейчас рассыплется... Скажи мне, его звали... — я сделал паузу, как в хорошем детективе, где после двенадцатой серии, перечислив всех, кого можно было подозревать, открывают имя настоящего преступника, который вообще ни разу не показывался на глаза зрителю, а творил свои черные дела за кадром, но в данном случае шла речь об отыскании положительного героя. — Его звали — Василий?

Мой волшебный замок из паутины воспоминаний готов был рухнуть в это самое мгновение.

Цыган удивленно посмотрел на меня.

— Василий! Откуда ты знаешь? — он улыбался и удивленно покачивал головой.

— Фамилия?

— Не помню...

— Постарайся вспомнить...

Он долго хмурил лоб, пожимал плечами, потом неуверенно сказал:

— Кажется — Горелов...

— А может — Гаврилов...

— Точно, — он облегченно рассмеялся, — просто ря-

дом — Горелов — Гаврилов... Но точно — Василий Гаврилов.

Мы поняли, что спешить нам теперь некуда, имеет полный смысл подробно разобраться и распутать, как могли столь разные люди в столь разные времена и в разных местах оказаться переплетенными своими судьбами — я, актер Андрей Рык, бывший лейтенант Василий Гаврилов, позже гример или актер, и Леонид Кузьмин — бывший солдат, а позже актер, режиссер, художник — рыцарь провинции.

Начал я, так как мое воспоминание во времени было более отдаленным, чем встречи Игоря со своим дядькой несколько лет назад — более отдаленным, потому менее мыслимым. Я взял коробку с гримом старшего Цыгана, отыскал нужную мне картинку и показал ее Игорю.

В углу коробки тонкими палевыми линиями были нарисованы во весь рост шесть девушек, стоящих на табуретах. Детали картины не были проработаны — только шесть тоненьких фигур, — и лишь венчики волос отличали их друг от друга, — одна была с огненными волосами, другая с черными... Что-то в этом рисунке притягивало внимание и настораживало — в равности построения фигур, в их бездвижности и одинаковости было что-то грустное, если не трагическое. Люди, выстроенные в шеренгу, если они не солдаты, всегда вызывают недоумение, близкое к состраданию, настолько это противно природе человеческой.

— Эти фигурки, — сказал я Цыгану, — не фантазия твоего дяди, а рисунок с натуры.

— Да! — коротко и затаенно ответил Игорь, и мне показалось, что в нем тоже сплелось и легкое слежение за детективными ходами воспоминаний, и та серьезная жизнь, что скрывалась за их замысловатыми сюжетами.

И еще его удивило, что постороннему — а в данном случае я был именно таковым — было известно то, что было их семейным преданием тридцатилетней давности, известным всем существующим на земле веточкам рода Кузьминых.

— Эти фигуры, — продолжал я, — память об одном событии весны сорок пятого года! погоди, сейчас постараюсь вспомнить — где это было... Вертится в памяти... Есть! Это было в земле Бургенланд?

Цыган откинулся на спинку дивана, затянулся и, скрывая усмешку, сказал серьезно:

— Отлично. Я чуть не попался...

— Так или не так? — обиделся я.

— Так, да не так. Дело было в Бургенланде, но кончай мистифицировать меня. Все дело в том, что я знаю свою слабость — рассказывать занимательные истории... К твоему сведению, они не всегда выдуманы, над некоторыми не стоит смеяться... Это — одна из них! Я ведь тебе ее рассказывал?!

Он говорил серьезно, почти обиженно.

Я горячо откликнулся:

— Клянусь, не рассказывал...

— Верно?

— Я же сказал — клянусь. И докажу тебе, что знаю эту историю сам — почти что из первых рук. То есть так и есть — из первых!

В основе актерской профессии лежит игра, и когда современные режиссеры пытаются разъять ее на арифметические действия — проверить алгеброй гармонию! — игра теряет свою суть. Многие непосвященные, встречая в быту актеров, решают, что это народ либо глуповатый, либо слишком взвинченный, потому что ведут себя и реагируют на события и разговоры бурно и несдержанно, как дети, что уж вовсе не подобает взрослым — эти люди просто не понимают, что перед ними «игра», «подыгрывание», — своего рода «тренинг».

Впрочем, благодаря новой самодельной теории театра, что главное — выявить себя, свою личность, а не автора — будь то Чехов, Шекспир, Толстой, какая разница, — главное, показать себя! — актеры и в быту стали тренировать в себе отстраненность, замкнутость, философскую загадочность, которые смахивают порою на обыкновенную серость и скуку, какие уж тут глубины выявлять?!

Говорю все это к тому, чтобы объяснить наш приподнятый в тональности разговор, наше небольшое подыгрывание неожиданностям тайны, повышенные восклицания — мы помогали друг другу, а уж мне, бывшему провинциальному актеру, это вполне простительно.

Но в глубине души у нас, сорокалетних, было, пожалуй, еще больше изумления и восклицаний, только боялись мы их выплеснуть наружу, чтобы не оказаться заподозренными в сентиментальности, и подменяли их чуть повышенными интонациями, из коих сразу можно было понять — «мы же подыгрываем друг другу, знаем, что подыгрываем, в этом и есть ироничность по отношению к самому себе, очень современно!»

Словом — защитная, защитительная игра! И это-то друг перед другом, в пустой квартире — без публики! — зная преданность друг другу, когда уже можно бы не бояться насмешки... Впрочем, при чем здесь профессия? — просто с годами все труднее становится быть искренним... Может, время такое? Может быть...

Я не торопясь начал рассказывать ему историю моего знакомства с необычной манерой миниатюрной живописи...

Первые шаги по сцене я делал далеко от Москвы в музыкально-драматическом театре и мечтал, будучи артистом драмы, поразмять как следует ноги в пританцовках в оперетке. В ту далекую пору — оперетка застенчиво именовалась «музыкальной комедией».

Ах эти пританцовки, пританцовки! Замечательная вещь — пританцовки!

На заднем плане сцены, во время массового действия, мощно закрытые от публики солистами опереточного балета, затем кордебалетом оперетты, не говоря о солистах-певцах на первом плане — так вот на заднем плане, всё, что может танцевать и носить фрак или платье, должно быть красочным подвижным фоном — «пританцовывать!»

Я был молод и достаточно худощав для того, чтобы иметь право носить гусарские ментики, фраки и черные шелковые плащи с белым подбоем!

Работы было много. А тогда, лет двадцать назад, все мы старались работать добротнo, чтобы не было стыдно за самого себя, поэтому и грим был панацеей — трудолюбие и изобретательность вознаграждались тем, что тебя могут не узнать, когда изо дня в день торчишь не в лучших ролях — в «пританцовках»! — за грим можно было спрятаться и сирятать свою обиду на незавидное положение в театре.

Как старательный выпускник театрального института, я сам владел «тайной» грима и малевал себя почем зря с полным знанием «анатомии лица»! Это не шутка! Первое, чему учили нас на уроках грима, — познание анатомии лица — умение сделать из своего двадцатилетнего — череп с вылущенными зубами, с черными провалами вместо глаз!

Слава богу, родители никогда не видели наших занятий, и руководство института не догадалось сделать такие занятия показательными.

Можете себе представить двадцать пять ходячих черепов, выполненных в меру таланта — искусно или просто устрашающе, вместо молодых и озорных лиц представителей обоего пола? Можете? Милости прошу...

Я не ушел в сторону от той самой вспышки памяти, которая подвигла меня на воспоминания, просто без этих подробностей нельзя будет понять, почему я вспомнил все, что знал, и почему для меня это важно — во всей этой истории главную роль играл Гример!

Гример в нашем театре был мастеровым своего цеха, в широком его смысле, — любые выдумки актеров, даже намеки, он превращал в дело, облакал в плоть — будь то парики немислимых конструкций, носы, перед необычностью форм которых спасовала бы природа, брови, густотой превосходящие джунгли. Делал он все изобретательно, тщательно и достоверно.

Звали его Василий Иванович Гаврилов.

Он был высок, строен, ходил с гордо откинутой головой, был насмешлив. Актерам, раздражающим его, доставалось от его резкого и острого взгляда, умевшего подметить ничтожные детали несоответствий или карикатурности, и если учесть, что свою наблюдательность он умел облечь в точные слова: его характеристики и остроты запоминались, и долго бродили следом за провинившимся.

В театре его все любили, хотя вне театра жил он замкнуто, и никто не знал его так называемой личной жизни. Будто у человека может быть иная!

Причина была проста и сложна одновременно — он был инвалидом войны. Очки скрывали глубокий шрам над правым глазом, бровь и скула были рассечены глубоко и срослись уродливым шрамом, он подтаскивал одну ногу — она не гнулась. Еще бы не быть замкнутым и нелюдимым!

Но в театре он был молод и насмешлив, и ходил с гордо откинутой головой!

О нем можно было бы долго говорить, потому что он соединил в себе трудно соединимое для человека — собственное уродство, принесенное войной, и гордость человека, не сломленного этим уродством.

Многим актерам театра он разрисовывал коробки с гримом цветными картинками и покрывал их гримировочным лаком для сохранности. Чаще всего это были портреты хозяев коробок — в гримах, в очередных ролях — эдакая галерея шедевров, не приведших к славе.

Он сам и его рисунки прямо-таки притягивали меня, я стал частым гостем его закутка, именуемого гримерным цехом, и считал себя его другом, но не сумев сломать некий барьер его отчужденности, никогда не говорил с ним об этом.

Его закуток был оклеен афишами, фотографиями с дарственными надписями безымянных столпов периферийных театров, вырезками с фотографиями иностранных див, чтобы было откуда брать модели для привередниц опереточной труппы.

Там же на маленьком столике с плиткой для завивки волос — на ней он нагревал щипцы, со станком для плетения волос «крепе», с несколькими липовыми кругляшами, чтобы шить «по болванам» парики, со всеми этими чудесными инструментами вместе лежали коробки из нержавеющей стали, сплошь покрытые миниатюрами — это был его личный запас, который он часто отдавал в пользование.

Его постоянные сюжеты так примелькались, что однажды, увидев на одной из коробок что-то иное, я, с его разрешения, вытащил ее и стал рассматривать.

На коробке в центре была одна миниатюра — шесть тонких женских фигур, стоящих на табуретах!

Они были так одинаково одеты, что причислить их к какой-то сцене из какого-то спектакля не было никакой возможности, и я спросил у Василия Ивановича, что это за миниатюра, вернее, что это за символ и почему он так строг.

— Рисунок с натуры... — сказал он.

Я высказал свое удивление — что бы это значило?

— Рисунок с натуры, но выполненный по памяти — так будет точнее сказать...

Я уселся поудобнее, всем своим видом давая ему понять, что не уйду, пока не получу исчерпывающий ответ.

— Заинтригован? — засмеялся он. — Была одна история во время войны. В последние месяцы. Были мы в земле Бургенланд, и был у меня во взводе друг, Цыганом его прозвали, хотя он был такой же Цыган, как мы с тобой... А я только что лейтенантские погоны нацепил... В апреле сорок пятого...

2.

Дорога шла вдоль виноградника, а там, где он кончился, пошла круто вверх по склону. Она была так глубоко врезана в грунт — местами песчаный, местами камени-

тый! — что борта «газика» плыли вровень с небольшими кривыми кустами по обе стороны дороги, чуть не задевая корни посаженных вдоль нее яблонь и слив, обнаженные временем и дождями. Легко можно было ступить с борта машины прямо на землю, как на платформу, проплывающую мимо.

Случись встречная машина, одной из них пришлось бы задним ходом возвращаться к подножию холма, откуда начиналась дорога, или забираться задним ходом к стенам монастыря, где она, по всей видимости, кончалась.

— Ничего себе дорожка, товарищ лейтенант? — шофер остановил машину и взглянул на Гаврилова. — Это же не дорога — мышеловка, братская могила... Тут танковую колонну двумя гранатами запереть можно...

Лейтенант внимательно рассматривал те метры дороги, что хорошо были видны впереди, до ближайшего поворота.

— По этой дороге лет пятьсот в монастырь ездили, — ответил он шоферу, — мирная дорога была лет пятьсот... Посмотри, как можно в объезд по холму двинуть... Не нравится мне она... эта чересчур мирная дорога...

— Есть осмотреть холм! — и шофер выскочил из кабины.

Гаврилов тоже вышел размять ноги.

Несколько часов уже плутали они по проселкам, сверяясь с картой, по этой непривычной для глаза местности — все было чужое, враждебное — не наше! — хоть апрельское солнце и припекало по-летнему, и не было вокруг пепелищ и развалин, — пустынное было место, потому и не дали пока лейтенанту Гаврилову переводчика — не с кем было общаться! — обещали прислать из штаба полка на следующий день, прямо к месту его назначения — в монастырь, да и то на всякий случай: монастырь пуст.

По картам, монастырь был километрах в пятнадцати от главных дорог. Числился он женским, но по данным разведки давно покинут.

Лейтенант со своим взводом автоматчиков должен был занять его и приготовить монастырские добротные здания к расквартировке. В этом монастыре можно было с удобствами разместить полк — все здания целы и невредимы, внутри — три колодца с чистой водой, — так донесла разведка.

К тому же монастырь вдали от населенных пунктов, а стало быть и от населения, что было тоже немаловажно

в чужой стране, в последние недели, как все чувствовали и знали, этой четырехлетней войны.

— Вполне можно попробовать стороной, товарищ лейтенант! — шофер деловито постучал по потрепанным скатам, даже похлопал по борту, словно проверял надежность кузова и колес.

— Что, Сашок, неужто еще не развалилась? — сочувственно спросили у него из кузова.

— Не. Тыщи верст не развалилась, теперь не имеет права. Правильно я говорю, товарищ лейтенант?

— Правильно. Ну как?

— Едем! — коротко ответил солдат.

— Давай.

Натужно подвывая, «газик» выбрался в сторону от дороги прямо на склон холма с чахлой прошлогодней травой, — кое-где ее прорезала новая яркая зеленая. Подождал, когда вторая машина забралась следом, и неторопливо пополз вверх по холму.

И сразу стало видно далеко вокруг. Эта часть чужой страны была самой низменной, судя по картам, много рек, долины ее широки, но безлесны — только одинокие купы деревьев нарушали ее плоскость — буки и раскидистые клены были видны издалека, как одинокие часовые.

Все склоны невысоких и тоже безлесных холмов оплетены виноградниками. Кое-где виднелись поля — заброшенные, пустые...

Монастырские стены показались как-то исподволь, будто из-под земли, но росли, росли и, когда машина притормозила невдалеке от ворот, заполнили собой полнеба.

Монастырь издали казался игрушечным и легким, как на картинке, вблизи глядел на солдат огромными распахнутыми воротами и нависал над ними мощными каменными стенами старой кладки. На верху холма, около стен, ветер дул напористо, рывками, хотелось скорее спрятаться за ограду стен, но они своей мрачной мощью и крупной кладкой вызывали, если не чувство испуга, то во всяком случае — некоторой робости. Слишком хороши они были, чтобы держать здесь долгую оборону, а иначе солдаты и не умели мыслить — четыре года все, что окружало их, было либо защитой, либо угрозой жизни — каменное здание, развалившийся сарай, насыпь, даже стог сена или землянка.

Один грузовик встал справа от ворот, второй слева, солдаты попрыгали на землю.

— Газаев!

— Здесь Газаев, товарищ лейтенант!

— Бери свое отделение и на разведку. Если есть кто-то из монастырских — ни-ни! — ни пальцем, ни взглядом! — мы миром! Хотя по данным разведки монастырь и пуст... Но чем черт не шутит! Выполняй.

Отделение Газаева, по одному, проскочило в ворота и так же, по одному, охватывая внутренний двор монастыря по периметру, исчезло в боковых галереях.

Лейтенант любил Газаева, хоть и трудноват был солдат в быту — трудноват своей дотошностью, своей определенностью на всякую мелочь — мир и его частности он видел четко, и четко называл все своими именами.

Даже приказы командир старался ему отдавать не так, как другим — более подробно и точно, — хотя бы для того, чтобы ограничить его темперамент и поставить некоторые пределы его дотошности.

Но когда дело касалось разведки — будь то местность или разрушенный дом, ему вообще ничего не надо было разжевывать! Володя Газаев возвращался только тогда, когда мог нарисовать, рассказать про каждый метр пространства и ответить за него головой. Его природный темперамент, звериная ловкость сочетались с расчетливостью, осторожностью и терпением. Вынослив он был без меры. На него можно было положиться полностью, это знали все, кто бывал с ним в деле, а он на все вопросы — почему он такой? — коротко отвечал:

— Горы научили.

Весенние апрельские дни, теплые и безветренные, легкая дымка, затягивающая дальние холмы, молодая, едва пробившаяся трава и чуть наметившиеся листья — были щемяще ласковыми и никому не хотелось думать, что после четырех лет ада, здесь, на чужой земле, они не доживут до мирной жизни, вот такой — солнечной, тихой, только набирающей летнюю силу и покой.

Монастырь был большой, с огромным собором посередине, с несколькими зданиями вокруг него, предназначение которых было неизвестно лейтенанту Гаврилову, до того в жизни не бывавшему не то что в монастыре, но и внутри какой ни есть церкви.

Старательного Газаева командир скоро не ждал, поэтому «расслабился» — закурил, облокотясь о крыло «газика», рассматривая непривычную для глаз местность.

Но была она не совсем непривычна для глаз — эта

земля напоминала недавно пройденную Венгрию — напоминала холмами, каменистыми дорогами, отдельными островками деревьев, обильными виноградниками. Напоминала Венгрию! Но думать об этом не хотелось — большая часть его взвода — и это крупинка в общем деле! — осталась там и ничего бы не смогла сейчас вспомнить, она осталась там, в чужой земле, а сегодняшние — новое пополнение — тоже не смогли бы ничего вспомнить: они там не были.

Тишина была непривычной и не только не успокаивала, а, наоборот, натягивала нервы ожиданием. За долгие годы войны Гаврилову не раз приходилось замирать в такой тишине, зная, что она — начало жестокого грохота и визга, а никак не отдых для души.

Привычнее была канонада или гром близкого боя.

Тишина войны всегда обманчива, поэтому Гаврилов даже вздохнул, когда эту тишину нарушил резкий, отчетливый стук солдатских подковок о каменные плиты, вздохнул с облегчением, хотя звук был тревожный и все усиливающийся — кто-то бежал по нижней галерее вдоль монастырской стены все ближе к воротам.

Без суетни — только молодые, мало обстрелянные, чуть растерялись было, но, глядя на бывалых солдат, оправнились, — взвод рассыпался от машин, прижимаясь к мощным монастырским стенам с обеих сторон распахнутых ворот.

Из ворот выскочил Кузьмин, огляделся и кинулся к лейтенанту. Гаврилов привычно отметил пужное — автомат висит у солдата за спиной, значит, особой опасности нет. Но солдат был взволнован, даже напуган чем-то и, подбежав к командиру, запыхавшись, выдохнул одно слово:

— Есть!

— Что «есть»? — строго спросил Гаврилов, хотя сразу понял, что разведка ошиблась.

— Есть... — замялся, подыскивая слова, Кузьмин, — как бы это сказать... Население в монастыре есть... Местное... Немного. Вешаться хотят!

— Сколько?

— Не успел сосчитать — не больше отделения... Плохо видно... Темно там.

— Где Газаев?

— Там... где население... где темно...

Леонид Кузьмин, прозванный за внешность Цыганом,

был старше командира лет на десять, опытнее его, матерее, что ли — по сейчас казался растерянным и толком ничего не мог объяснить.

— Машины ближе к воротам! — скомандовал Василий, — второе отделение — вдоль левой стены, третье — вдоль правой, четвертое остается с машинами. Занять все точки. Без моего приказа не высываться. За мной, бегом! Леня, показывай!

Василий Гаврилов бросился к воротам, зная, что солдат Цыган хоть и старше, но такой легкий и сильный, что догонит командира.

Они пробежали правой галереей и выскочили в угол монастырской ограды к одноэтажному зданию с высокой черепичной крышей.

— Сюда, в трапезную! — на бегу крикнул Кузьмин, — сам все увидишь. Чертовщина какая-то!

Цыган даже не запыхался, говорил, чуть раздельно произнося слова, но чисто и внятно, будто и не бежит он рядом с командиром, а ведет беседу, сидя на лавочке.

Лейтенант подивился, откуда Кузьмин знает, что этот дом — трапезная? — на нем же не написано! — но ходу не сбавил.

Дверь была приотворена, возле нее расположился солдат из отделения Газаева.

— Пока тихо! — коротко доложил солдат подбежавшему командиру.

— Что тихо? — не останавливаясь, спросил Гаврилов.

— Наверху тихо! — крикнул ему вслед часовой и для верности поднял голову, наклонив ее одним ухом и скосив глаза куда-то наверх — в самом ли деле тихо?

Василий взялся за кованую ручку широких дубовых дверей, ведущих внутрь здания, но Цыган подсказал ему:

— Не туда, Вася... — и показал глазами на деревянную лестницу с перилами на резных столбиках, ведущую то ли к верхней галерее, то ли на чердак трапезной.

У лестницы стоял еще один солдат из отделения Газаева.

Но и наверху Кузьмин позвал командира не к галерее, а к еще более узкой лестнице, ведущей на чердак. Перед чердачной дверью была небольшая площадка, на ней сидел Газаев и его ребята.

При виде командира они вскочили и уступили место перед самой дверью.

— Василий, — шепотом наставлял командира Цыган, —

ты это... — он показал глазами на автомат, что висел на груди Гаврилова, -- не надо... Автомат сними и открывай... Только потихоньку открывай и гляди... — и сам встал в стору.

Солдаты тоже встали по бокам двери. Особой тревоги никто не выказывал, скорее, все казались смущенными и взбудораженными.

Цыган сам осторожно, чтоб не скрипнула, приоткрыл дверь перед лейтенантом, но едва тот просунул голову в щель, как раздался истошный женский крик.

Судя по голосам, кричали женщины совсем молоденькие, почти девчонки. В их голосах был неподдельный животный страх и горе.

От неожиданности Гаврилов отпрянул, машинально распахнув за собой дверь.

Он стоял один в распахнутых дверях — виден был только он один! — и не шевелился; замер. Может, эта неподвижность, и то, что он один, как-то подействовали и остановили крик — он оборвался так же, как начался — сразу! — и до полной тишины.

Глаза не сразу привыкли к полумраку чердака, да там был вовсе и не полумрак, но после солнечного света любое помещение — темное, а тем более чердак, хоть и проникал в него свет из многих просторных окон, врезанных в высокую наклонную черепичную крышу и выходящих наверх наподобие собачьих будок.

Василий увидел мощные строила, уходящие рядами от двери в глубину чердака, связанные крепкими поперечными балками, — такие тысячу лет простоят.

Лейтенант, выросший в деревне, знающий, как наши потолки присыпают землей и сухими листьями, подивился чистоте — чердак был аккуратен и чист, как горница.

Все это отмечали глаза Василия, словно оттягивали мысли от главного — что же там в глубине?

Первая поперечная балка проходила метрах в десяти от двери, и под ней Гаврилов разглядел тонкие женские фигуры, вернее, по крику он понял — женские! — а так бы на глаз — просто шесть фигур! Шесть одетых во что-то одинаковое — прямое и светлое. Самым неестественным было то, что они... парили в воздухе. Следующее открытие еще более повергло его в изумление — не парили эти фигуры — они были повешены!

Он разглядел мерцающие нити веревок, что тянулись от каждой головы вверх к поперечной балке и там были

отчетливо видны, потому что были многократно намотаны и связаны крупным узлом.

Но что-то в этой картине было не так — если они повешены, то кричали не они! Не могли они кричать!

За годы войны слишком хорошо узнал лейтенант Гаврилов, как кричат те, кто остался в живых, глядя на своих повешенных, — а повешенные молчат.

Так кто же здесь кричал?

Глаза полностью освоились с серым светом, и вся картина стала ясной и простой — все женщины, все шестеро стояли на тяжелых табуретах, плохо различимых на фоне темного пола. Заметил Василий, что и табуреты не похожи на наши — ножки у наших стоят прямо, а здесь широко расставлены наискосок — для прочности. Приглядевшись к веревкам, понял Гаврилов свою ошибку — веревки не были натянуты безжалостно и прямо между жизнью и смертью, нет, они петлей, не затянутой до конца, лежали на шеях женщин, а к балкам уходили безвольно, чуть волнисто, похожие на змей, готовящихся к своей стремительной смертельной атаке.

Они не были повешены — и кричали они.

Все стало ясно. А что стало ясно?

Они не были повешены, но они собирались повеситься! Зачем? И почему не сделали этого? Что помешало? Кто? Мы?

Гаврилов сделал шаг вперед, и та же волна ужаса и мольбы захлестнула его. Он отступил к двери — крики смолкли. Снова сделал шаг вперед... И снова вынужден был отойти, остановленный криком. Он только одно понял — кричат совсем молоденькие девушки, почти дети, и крик их — это крик смертельно напуганных детей. Он готов был уйти, скрыться от этого зрелища, от этого крика, но что-то удерживало его, что еще он должен был разглядеть и понять, чтобы разобраться в этой чертовщине, чтобы найти в ней хоть какой-то, пусть самый бесчеловечный, но смысл, — и он продолжал стоять и смотреть.

Наконец, прикрыв осторожно дверь, Василий жестом позвал солдат вниз по лестнице от чердачной двери чуть вниз, — поговорить, но чтоб голоса не пугали девчонок.

— Ошиблась разведка! — ни к кому не обращаясь, будто сам себе, сказал Гаврилов.

— Похоже, не ошиблась, товарищ лейтенант! — Газасев подошел ближе, все повернули головы к нему. Они не сговариваясь, поняв знак командира, говорили тише, чтобы

не вспугнуть гулким словом тишину трапезной, где на чердаке притулилась смерть.

— Похоже не ошиблась! — продолжал Газаев. — Еще недавно здесь никого не было, ну, когда была наша разведка — здесь никого не было...

Не ожидая вопроса, он продолжал неторопливо и точно рассказывать:

— Я шел по левой галерее, по нижней левой, там, напротив главных ворот, есть в стене ворота поменьше, всего чуть больше моего роста, вроде черного хода. Ворота ржавые, лет сто не открывались, а вот запор и петли... Ржавчина чуть облетела, стала рыжей — свежей стала ржавчина, будто кто кувалдой ее окрестил, чтобы открыть запор... Выглянул за ворота — а там следы от машины. Мало приметны, почти не видны, но там, где машина разворачивалась, — след от пробуксовки — трава стерта. Следы недавние, думаю сегодня утром, а, может, и совсем недавно — часа за два перед нами... Так что не ошиблась разведка.

Никто не усомнился в наблюдениях Газаева, но никто не мог связать воедино все данные.

— Может, это их привезли? — предположил Газаев, — разведка вчера была, а сегодня их привезли!

— А зачем, Володя? — спросил Гаврилов.

Солдат промолчал, пожал плечами.

— А кто они такие? — спросил молоденький Леша Фомин, солдат из нового пополнения.

— Бабы! — тяжело отозвался Савицкий, старый солдат.

— Монашки! — негромко поправил его Цыган. — Монашки-послушницы...

— Какого черта они здесь?

Вопросы повисали в воздухе, никто не брал на себя смелость ответить.

— И что делать собираются?

— Что делать собираются? Вешаться.

— Сам вижу — не слепой. Зачем вешаться?

— Тебя дурака боятся...

— А чего меня бояться? — обиделся Леша.

Солдаты говорили все сразу.

Лейтенант не перебивал — складывал в уме увиденное и услышанное, — словно процеживал через решето воду, чтобы промыть горох — вода стечет, горох останется.

— Не больно хотят вешаться.. Хотели бы — нас не стали бы дожидаться...

— А не хотели бы — давно деру дали! Кто держит?

— А, может, у них приказ такой...

— Какой? Вешаться? Сдурел, что ли?

Гаврилов приостановил солдат:

— Вот что, хлопцы... Дело тут неясное и, думается мне, — не простое... Мой приказ такой — этих бедолаг как-то снять надо или уговорить, чтобы сами, значит... снялись... Только не пугать, не шуметь — миром...

— А што с ними царамоница? Хотят вешаца, пусть — вешаца, чужими паскудами меньше! — Петр Савицкий угрюмо смотрел на командира.

Лейтенант знал, что солдату Петру Савицкому некому писать письма, и ему никто не пишет — обескровленная Белоруссия осталась далеко позади, а ее солдат Петр Савицкий несет в своем сердце пепелища и безлюдье изуродованной своей земли. И сердце его очерствело, словно обуглилось на далеких пожарищах.

— Не хотят они вешаться, Петр Давыдыч! — обратился Гаврилов к солдату.

— Почему так решил, командир?

— Ты видел их? Хорошо видел?

— Я б на них лучше иначе взглянул... — и старый солдат тронул рукой ствол автомата.

— Петр Давыдыч, да у них же руки связаны...

Все разом примолкли.

Василий не зря долго рассматривал неясные фигуры, мучимый загадкой, и только теперь он понял, что не давало ему покоя и теребило мысль — неестественность их поз! Вернее — естественность, но только для настоящих повешенных — руки у всех были связаны за спиной, но они же были живы?!

Гаврилов стал рассуждать вслух:

— Вот что, пожалуй, получается. Видно, их недавно привезли и загнали сюда, зная, что мы вот-вот явимся. Застращали, а может, и Богом уговорили смертную муку принять за райское блаженство — вроде святых, мол, станете...

— Неужто такое бывает? — изумился Фомин.

— Бывает, у людишек все бывает... — остановил его Цыган.

— Продолжаю. В штабе насчет мирного населения, как предупреждали? Чтоб миром, только миром... Да и о монашеском звании говорилось — тут этих служителей много, и сила они в этой стране, большая сила, народ их слушает...

Вот и выходит — повесятся монашки — русские солдаты виноваты — насилуют мирное население, да еще и вешают, потом докажи, что не так...

— Похоже... — вздохнул Газаев.

— А, может, они сами на муку идут?

— Вполне возможно!

— А чего же орут?

— Так страшно же, когда твоя рожа с автоматом к ним суется!

— А коли страшно, что же не вешаются? — не унимался Леша Фомин.

— Жить, наверно, хотят, Фомушка. Жить хотят. Не плохая ведь штука — жить?! А?!

— Хватит лясы точить! Так решим. Тебя, Петр Давыдыч, извини, от караульной службы освобождаю, мы не о себе сейчас думать должны. Если эти дуры повесятся, так те, кто привез их, такое растрезвонят, так разъярят здешних недобитков, что мы втрое больше крови нашей здесь оставим. А будут знать, что мы не звери, уговорим этих по-доброму домой отправляться, может, кто из наших и останется в живых лишний, ну тот, кто мог бы погибнуть, если бы худшая драка из-за этих девчонок началась бы... Газаев, с отделением — посменное дежурство у раскрытой двери. Начнешь дежурить ты. Понял? Повеситься они не должны!

Все поняли, почему командир первым в дежурство назначил Володю Газаева, и сам он сразу смекнул.

— Понял, товарищ лейтенант! — и Володя достал из-за голенища отточенный, как бритва, трофейный охотничий нож, с которым и на кабана можно идти.

Во взводе знали, что Газаев этим ножом метров с тридцати одним броском перерубает любую веревку на столбе, всаживает нож в белый лоскут величиной со спичечную коробку, приколотый к дереву. Когда его спрашивали, где он так научился, Володя, как всегда лаконично, отвечал:

— Горы научили.

Уходя Гаврилов сказал:

— Продержимся до завтра, пошлю связного в штаб с донесением, с просьбой о переводчике...

— Товарищ лейтенант! — Газаеву не с руки было ждать в бездействии.

— Вопросы?

— А, может, войдем все сразу — пусть вешаются, я

успею все веревки в две секунды перехватить, если что — откачаем...

— В крайности так и сделаем, хоть они с испугу могут и сердцем надорваться... Нет, приказ прежний — пусть привыкают, что мы здесь, пусть тебя в дверях видят, да и других твоих ребят и пусть поймут, что мы им зла не желаем и не сделаем, а там переводчик как-нибудь их на дело наладит... Так что никакой самодеятельности. Буду каждый час проверять — надо монастырь к приему полка готовить.

— Жалко их, товарищ командир, совсем девчонки! — сказал молодой солдат из пополнения, о котором Гаврилов думал не иначе, как «совсем мальчишка».

— Конечно, жалко. Знать бы, какой гад такое придумал, с ним бы я не церемонился...

— Товарищ лейтенант, — обратился Кузьмин, — разреши мне с Газаевым остаться. Кое-какие мыслишки появились...

— Давай, Леня, только аккуратно...

Кузьмин с Газаевым подождали, когда стихнут голоса и стук подковок по каменным плитам в самом низу, оставили у входа Фомина и медленно пошли вверх. Лестница поскрипывала под тяжелой ногой Кузьмина, хоть и считался он стремительным и сильным в беге, но с Газаевым его нельзя было и сравнивать — тот ходил бесшумно, словно на ногах у него были тонкие сапоги из мягкой кожи, без подметок.

Не доходя нескольких ступеней до чердака, Кузьмин предупредил Газаева:

— Володя, давай-ка в голос разговаривать.

— Зачем? — удивился горец, привыкший ходить тихо, делать все бесшумно как в горах, так и на войне.

— Шепота люди больше боятся, чем громкого голоса... Услышат нас — поймут, что мы не подкрадываемся, а идем мирно и сами собой разговариваем...

— Ох и хитрый ты, Цыган! Все про людишек знаешь... Только эти-то не наши! Может, у них все по-другому? Может, им твой громкий голос, как нож по горлу?

— Черт их знает, только сдается мне, Володя, что людишки везде одинаковы, только и отличаются друг от друга тем, что одни дети, другие взрослые, одни женщины, другие — мужчины, а уж все остальное из них силой делают...

— Я их и не разглядел. Может, страшилища какие?

— А если хорошенькие — какая разница? После смерти люди все одинаковые — мертвые...

Приоткрытая ими, чуть скрипнула дверь, но маневр Кузьмина не оправдался — хоть монашки и слышали их приближение — крик и визг были прежними.

— Садись на пороге, Газаев. Я у притолоки пристроюсь.

— А что делать будем?

— Смотреть на них. Нож-то спрячь, чтоб не видели... Давай курить будем, а они пусть смотрят... через нейтральную... Понял? Пусть к нам привыкают.

Продолжая негромко говорить сам с собой, Цыган внимательно, но не назойливо следил за белыми фигурами в глубине чердака.

Что-то неестественное, зловещее, противное душе человеческой было в этой картине. Они уже не кричали. Молчали. Неподвижно застывшие между полом и потолком — они молчали. Ни веревок, ни подставок не было видно — солнце, совершая свой круг, переходило к другим окнам. Леонид прикинул, что через час солнце ворвется в окно напротив фигур, и тогда ослепит их, осветит и даст рассмотреть, как следует.

Ему казалось, что молчание свыклись с его присутствием, смирились со своей участью, так тихи и безучастны они были. Он решил сделать новый шаг к переговорам.

Результат был прежним. Он только понял по интонациям и отдельным, знакомым по школе, словам чужого языка, что его умоляли, заклинали, просили, грозили ему, чтобы он не двигался с места, не подходил: не делал ни шага, стоял бы там, где он стоит

— Какие ж связки надо иметь, чтобы так вопить! — пробормотал Цыган.

— Что за «связки»?

— Да это я так... к слову...

Он отступил снова к порогу, потом, обращаясь к шести неподвижным фигурам, стал знаками объяснять, что он не будет подходить к ним, а будет стоять на пороге. Он так сосредоточенно выделывал руками разные пассы, что Газаев хмыкнул:

— Ты что это, Кузьмин, языком жестов занялся?

— Если тебе, темному горцу, понятно, что это язык жестов, пусть и эта психованная Европа нас поймет... Я же в свое время был и актером, и циркачом, и художником... Всем понемногу... А сейчас мы им про демаркационную линию объясним...

Кузьмин сделал шаг вперед, а Володя незаметно сиружинил в коленях ноги и плавно опустил руку к голенищу, готовый в любое мгновение метнуться с клинком к этому ни с чем несообразному человеческому уродству, чтобы перехватить, перерезать окаянные веревки на шеях измученных женщин.

Прошло мгновение, но крика не последовало — жестами и всем телом Кузьмин объяснял им новую ситуацию — «Вот дальше этой линии, именно этой, он не ступит ни шагу, а вот здесь — всего-то полметра от порога! — их с Газаевым зона, а все остальное принадлежит им — хозяевам или подневольным гостям мрачного чердака».

— Зачем это? — удивился Газаев.

— Да ни за чем, пропади они пропадом! Просто налаживаю переговоры. Пусть лучше думают: «Что это там русский солдат вытворяет?», чем — «Вешаться или не вешаться?»

Несколько раз Кузьмин демонстративно отрывался от порога, открытой улыбкой подтверждая самые мирные намерения. Монашки, казалось, приняли и поняли его и, когда Леонид ходил по «своей зоне», — хранили спокойное молчание.

— Крепко стоят, ладно! — констатировал Газаев, — как джигиты в седле. На сколько же их хватит?

— Если они действительно монашки — хватит надолго. Весь день простоят — не дрогнут.

— Хорошая выездка.

Солнце прошло свой отрезок и хлынуло потоком, видимым в легкой пыли, вдоль верхней поперечины, высветив намотанные узлы веревок, вспыхнуло на белых рубахах женщин, на их лицах, обожгло пол.

Горец присвистнул:

— Смотри, Цыган... Молоденькие... Девчонки...

Стройный ряд неподвижных фигурок дрогнул, обозначилось едва заметное движение — солнце слепило глаза, солнце слишком осветило их, тогда как враги, замершие в дверях, стали неразличимы в сером полусвете. Женщины словно оказались на виду среди людной площади, в центре ее, и тысячи глаз впиваются в их тела, освещенные безжалостным солнцем. Рубахи на них были просты, но при каждом неосторожном движении обрисовывали тела, с пугающей хозяйек отчетливостью.

На груди у каждой виднелся крест, повешенный на тонком черном шнурке на шею. Руки, спрятанные за спи-

ной, и впрямь казались связанными, головы повязаны одинаковыми белыми не то платками, не то накидками.

Вернулся Гаврилов, спросил шепотом:

— Как они тут?

— Говори громко, командир, мы их приручили! — Володя гордился малыми успехами Кузьмина, как своими. — У нас зона своя есть, смотри...

Он сделал шаг от двери и сразу отпрянул назад — монашки опять закричали! То ли солнце отшибло у них память, то ли новый человек вселил прежний ужас.

Солдаты мрачно замерли в дверях. Глупая и горькая ситуация была для них внове и омрачала их головы всякими мыслями о своих сестрах и женах, которые четыре года знали ужас и нелепость беспощадной войны.

— Дичь какая-то! — устало проговорил Василий. — Может, просто уйдем, они сами из петель вылезут?

Сказал и осекся:

— Ни черта не выйдет! У них же руки связаны... — и Гаврилов шепотом, устало выругался.

Лейтенант глядел на солдат, прося помощи, продолжая рассуждать вслух:

— Руки связаны, устанут, брякнутся, петля сработает, кто и придушится, и никакой Газаев не поможет. А с меня комполка голову снимет — дали козырь вражеской пропаганде.

Василий взял у Цыгана изо рта сигарету, затянулся. Солдаты молчали.

— Морока! Привлечь их чем-то надо... Расположить...

Трое мужчин смотрели на шестерых женщин. Женщины глядели в разные стороны, только не на своих мучителей и врагов.

Между ними легла полоса в десять шагов.

Пропасть в десять шагов — не обойти, не перепрыгнуть — пропасть!

— Леня, может, ты споешь им что-нибудь? — Гаврилов говорил вяло, безо всякой надежды на успех.

— Верно, Цыган, может, споешь? — поддержал командира Володя Газаев.

— Василек, Володя, — Цыган улыбнулся им, как неумышленишам-детям. — Я такой же Цыган, как и вы... Петь я немного умею, и голос есть... Да вот с репертуаром плохо, из их композиторов — по опереточным могу пройти, а для смертниц — это не совсем подходящий репертуар...

— На крайнюю правую смотрите, на крайнюю! — быстрым шепотом перебил его Газаев, краем глаза горец видел все вокруг и сразу.

Правая с краю делала какие-то странные движения головой, словно мешало ей что-то, лицо ее исказила плаксивая гримаса, она морщилась, встряхивала головой, вжимала ее в плечи. Что-то с ней было целадно...

Солдаты переглянулись.

— Может, на двор ей приспичило? — шепотом предположил Гаврилов.

— Платок сползает! — так же тихо сказал Володя.

И в этот момент платок скользнул с головы, выпустив целый ворох волос. Рыжий, ярко-медный струистый поток скользнул по плечам и разделился на три части — одна за спину, две по сторонам лица — на грудь. Девушка вскинула голову, закрыв глаза, простояла минуту, снова раскрыла их, удивленно озираясь по сторонам и чуть качнувшись.

— Точно — монашки! — шепнул Кузьмин.

— Почему решил?

— Простоволосыми ходить грех — для нее это мука...

Девушка взглянула на своих — те не реагировали ни взглядом, ни возгласом. Она вновь запрокинула голову, закрыв глаза, простояла минуты две — снова раскрыла их, удивленно озираясь и чуть покачиваясь.

— С закрытыми глазами на табурете долго не устоишь — голова начинает кружиться! — Кузьмин все так же — шепотом — комментировал события.

Девушка стояла теперь, опустив глаза к полу, и только шевелила плечами, словно кололо ее что-то в спину.

— Товарищ командир, может, нам на время смотреться?

— Почему, Володя?

— Похоже, у нее на руках веревки ослабли. Если уйдем, она попробует их снять, а снимет — значит, жить хочет, а не вешаться... Тогда и говорить с ней можно будет... Попробовать... А я по-прежнему покараулю, если что...

Гаврилов плохо спал последние ночи, усталость брала свое, и он проворчал:

— Ляд с ними! Я пошел. Газаев, отвечаешь. Действуй по своему разумению, чуть что — кричи, зови нас! Пошли, Кузьмин, дел по горло, как размещать будем? Посты проверить надо... Пошли...

Они отступили в сумрак площадки, тихо прикрыли за собой дверь, оставив узкую щель для наблюдения — щель

с чердака не была видна — солнце слепило глаза монашкам, а дверь с площадки осталась в тени. НП Газаева был хорош.

Солнечный полдень разгулялся вовсю. Монастырские стены берегли внутренний двор от залетного ветра, и здесь царило теплое затишье.

Гаврилов с Кузьминым обошли монастырь, осмотрели все постройки, проверили посты.

Солдаты и рады были случайному затишью войны, что забросило их в этот неродной и непонятный угол земли, и сторожились — все было непривычно, ни на что не похоже, вроде и нет тревоги, ан нет, вот она — в этой непривычности и в этом иностранном чуде — шесть неповешенных повешенных тревожным звуком наполняли обманчивую тишину.

Возле цветника лейтенант остановился — кусты роз и каких-то незнакомых растений были в строгом порядке и ухоженности, хоть и легла тень скорого запустения на любовно налаженное когда-то хозяйство. Помещений в монастыре было много, взять хоть монашеские кельи — все было чисто, без мусора, без покореженной мебели, — видно было, что монастырь покинут без особой суеты.

Кухня должна была прибыть, если не к завтрашнему утру, то уж к обеду — наверняка, а пока солдаты питались сухим пайком.

Один из «стариков» приспособил печку в маленьком домике у ворот — что-то вроде привратницкой сторожки! — к своим нуждам: раздобыв деревянного мусора, растопил ее и кипятил чай. Петр Давыдыч старательно разминал в котелке брикет каши, чтобы сготовить «горячее».

— Товарищ командир, давайте к нашему столу. Чай есть, каша мигом созреет...

— Спасибо.

— Ну что, лейтенант, все пляшешь вокруг этих девах?

Савицкий, словно обиженный на всю жизнь, говорил со всеми только от горечи своей обиды. Может, так и было. И теперь — на всю жизнь.

— Пляшу, Давыдыч. И как не плясать — малые они, стало быть глупые, да и власть над ними, не своей же волей...

— Какая же власть?

— И гражданская, под видом божьей, и военная, под видом мирской...

— Ишь загнул... Скажи — жалко!

— Жалко, Давыдыч! — вдруг резко ответил Гаврилов, да так резко, что сам удивился и солдат удивил.

— Ладно, не серчай... В общем-то, конечно, жалко... Садись к столу...

— Сыт я. Спасибо.

Чем был сыт лейтенант, он и сам не мог бы сказать, только знал он одно, чувствовал, если сейчас не ляжет хоть на четверть часа,— свалится и заснет прямо на булыжной мостовой монастыря, либо в цветнике.

— Кузьмин,— окликнул он товарища,— пойдём пройдемся.

Они вышли во двор, и Василий признался:

— Выдохся я, Леня, оставляю тебя за старшего, пойду, где ни есть прилягу, не лягу — умру! — так спать хочу... А ты смотри построже с ребятами — слышал — «Как там наши повешенные?» Дураки, какие же они «наши повешенные»?

— В кельи провожу, там деревянные койки...

— Хотел спросить,— Гаврилов уже расслабился, и мысли путались, сбивались, он их не устрожал — уже спал! — Хотел спросить тебя, как ты узнал, что эти... ну, смертницы,— в «трапезной» — откуда знаешь, что это трапезная?

— Я же постарше тебя, бывал и в монастырях...

Они шли по двору, Гаврилов, чуть покачиваясь.

— Я слышал, вы артистом были до войны? — неожиданно спросил он. Леонид не успел ответить, только улыбнулся этому переходу на «вы» после трехлетней дружбы.— Так вот, я после войны тоже буду пробовать... ну, как это... поступить в театральное... А, может, в какой театр — ну там, чего принести, подать... Поучиться...

— Дело,— улыбнулся Кузьмин и поразился, что этот лейтенант говорит о его родном деле и волнуется, а для Кузьмина — все это в невозвратимом прошлом, и не знает он, что он будет делать после войны...

— Ты знаешь, я в школе в драмкружке был, во Дворец пионеров бегал,— он опять легко перешел на «ты».— У нас старикан преподавал. Он еще до революции в провинциальных театрах играл... Замечательный старикан. Любил на стекле, понимаешь, на обыкновенном стекле гримом цветы рисовать, а чтоб не смазались — он их клеем покрывал...

— Лаком,— поправил Кузьмин,— театральным лаком...

— Ну да, он так и говорил...

«Гримом на стекле? — подумал Кузьмин. — Лихо. Ни разу не встречал... А если грим тонко положить — светиться, как витраж, будет... Попробую... После войны...»

— Умру, сейчас, Лёня...

— Пришли.

Уложив командира, Кузьмин постоял над ним, над мальчишкой, сумевшим пройти войну и не очерстветь душой: еще вспоминал о школьном драмкружке во Дворце пионеров, от которого в его городе остались только развалины...

«Надо же — гримом на стекле! — думал Кузьмин, — надо попробовать... А Гаврилову помогу — куда-нибудь вместе в театр на провинциальную сцену... Из него толк выйдет — живой, горячий...»

Кузьмин шел по внутреннему двору быстро и напористо, потом ходил по внутренним галереям, заглядывал во все помещения, видно было по нему — человек что-то ищет. Разговор с Гавриловым — театр, рисунки на стекле, рисунки, театр, — как-то переплелись в его сознании и дали толчок делу...

— Что надо, Леонид Васильевич? — окликнул его Фомин, смененный от дверей трапезной.

— Ты часом какую-нибудь фанерину не встречал тут? — неожиданно спросил Кузьмин.

— Какую «фанерину»? — опешил солдат.

— Обыкновенную. Деревянную, белую... Мне нужен кусок фанеры, понял?

— Понял. Не встречал. А на кой она вам?

— Для спроса! — и Кузьмин двинулся дальше.

Да-да, этот чудака-актер на пенсии, преподававший в драмкружке, бывший художником миниатюр, подсказал Кузьмину если и не идею, то шажок, чтобы пробиться к испуганным душам монашек, оставленных на чердаке.

В одной из комнат большого дома, похожего на канцелярию, нашел Кузьмин то, что искал, то, что могло сгодиться для дела, — с одной из стен свисали плотные обои, похожие на картон, — одна стена была ободрана, но на другой они свисали широкими полосами, не очень чистыми снаружи, в пятнах высохшего клея внутри, но все же они прилаживались к его затее.

Оторвав несколько полос, Кузьмин профессионально скрутил их в рулоны — бумага была ему послушна и скручивалась, не ломаясь, — по пути зашел в привратницкую к Петру Давыдычу, набрал из печи еще красных, не

развалившихся углей, ссыпал их в котелок, ничего не ответил на вопросы солдат и скорым шагом пошел к трапезной, размахивая котелком, из которого вился легкий сизый дымок, как из паникадила.

Сверху, от чердачной площадки, раздалось предостерегающее шипение.

Газаев, приложив палец к губам, улыбался и знаками приглашал Леонида подойти потихоньку к щели, потом не выдержал, махнул рукой, спустился на несколько ступенек к Цыгану и зашептал ему на ухо:

— Рыжая, та самая, развязалась, но веревку с рук не сбросила, как партизанка перед побегом, делает вид, что все, как и было, да у меня глаза, как у орла...

— Горы научили?

— Точно говоришь. Так она стоит, рыжая стерва, и пальчиками шевелит... А это, что такое? — только сейчас разглядел он принесенные Цыганом предметы.

— Потом узнаешь. Дай-ка мне в щелку заглянуть...

— погоди. Ты подежурь вместо меня полчаса, я пойду, что-нибудь перехвачу. С утра ничего не ел.

— Горы, говоришь, научили! — невпопад сказал Кузьмин, думая о чем-то своем — азарт художника растаял в нем, и все мысли были направлены только на то, чтобы вернее обставить все представление.

— При чем горы, Цыган? — настороженно спросил Газаев.

— Володя, не полчаса — час дам передохнуть, только давай-ка, земляк...

— Какой ты мне земляк? — удивился Газаев.

— И тебе земляк, и другим земляк, есть у меня в роду и горская кровь, так что давай, земляк, перед тем, как сам поешь, пособирай у ребят печенье, конфеты — что наберешь! — только старайся не наше, а трофейное, с их этикетками. Потом забеги в трапезную, внизу там видел на стене деревянное резное блюдо?

— Газаев все видит! — улыбнулся Володя.

— Так все собранное вали на него и дуй сюда наверх, я тебя отпущу, а сам с этими монашками... Ну, думаю, что заставлю их из петель вылезти...

Он говорил быстро, сбивчиво и заразил Газаева напором и уверенностью, и тот через три ступеньки, а все-таки бесшумно, слетел вниз, к выходу.

Цыган подошел к щели и заглянул в нее.

Рыжая монашка сбросила веревки и потирала кисти

рук и что-то шепотом говорила своим соседкам. Те слушали ее с бóльшим вниманием, чем хотели показать. Опытному актерскому глазу Леонида было ясно, что готовы они ее слушать и дальше.

О чем они говорят? Может, решили дать дёру? Это не страшно, это даже хорошо, пусть удирают. А может, она уговаривает своих, что, мол, эти ребята не звери? Может, и так, но стоило чуть приоткрыть дверь, как фигуры вновь окаменели, а рыжая, забыв повязать платок, так и стояла простоволосая, спрятав поспешно руки за спину, делая вид, что и она связана.

Земля вместе с монастырем повернулась к солнцу таким боком, что все окна чердака впускали в себя потоки света, и было почти так же светло, как в любой нижней комнате этого здания, хоть в той же трапезной.

Девчонки не все были хороши собой, но все одинаково молоды.

Плотно сжатые губы, испуганные, широко раскрытые глаза делали эту картину, если не печальной, то уж во всяком случае нелепой — в их возрасте надо было заниматься совсем другими делами, а не стоять на краю гибели в монашеских одеждах на чердаке старого дома в конце чудовищной войны.

Ноги у девчонок подрагивали, они переминались с ноги на ногу, зябко поводили затекшими в одной позиции плечами, одна из них поминутно облизывала губы, пересохшие от страха и от усталости долгого стояния. Увидев потрескавшиеся губы монашки, Леонид сбежал вниз и столкнулся с Газаевым, который выходил из трапезной, неся на вытянутых руках резное блюдо с печеньем и конфетами.

— Вова, молодец, быстро — ведро чистой воды, и ты свободен...

Газаев молча передал блюдо Цыгану, исчез и через пять минут принес ведро со свежей водой и кружку.

— Начало операции — артподготовка! — без улыбки сказал Кузьмин и ногой, настезь, распахнул дверь на чердак. Фигуры окаменели в полудвижениях, на полувздохе.

— Милостивые дуры, — начал он громко и серьезно, — если вы еще не решили окочуриться, то не лучше ли попробовать солдатских гостинцев? А, девоньки?

«Девоньки» молчали и, похоже, собирались вновь кричать.

Кузьмин взял ведро с водой в одну руку, блюдо у груди придерживал другой и шагнул к ним.

Головы вскинулись, рты раскрылись для крика, руки напряглись, но Кузьмин быстро поставил в двух шагах от них ведро, положил блюдо на пол и вернулся в «свою» зону.

— Дуры,— сурово продолжал он,— лопайте. Животы-то, поди, свело? Даем десять минут, чтобы вы очухались...

Свои слова он сопровождал жестами, показывая на часы, растопыривая десять пальцев, объясняя, что они с Газаевым уходят и оставляют их одних.

— Вот теперь рыжей работа — всех накормить, руки-то у нее, заметил, развязаны...

— Всех накормить или всех развязать...

— Точно!

— Похоже, что вешаться они раздумали, а все же, Володя, будь на стрёме... Дверь прикроем — но ухо держи остро...

Они прикрыли дверь, присели на корточки у порога и, сторожко прислушиваясь, закурили.

— Кто мог подумать, что Володя Газаев такими делами будет заниматься? — задумчиво проговорил горец.— А где мой нож, где мой автомат, где моя ловкость джигита? В услужение к монашкам пошел Володя Газаев! А где сейчас мои братья джигиты? Где кровь их льется?

Он говорил грустно и устало, будто только теперь почувствовал всю тяжесть прошедших лет.

— Мы приказ выполняем...— Кузьмин посмотрел в боковое окно на чистое апрельское небо.— Четыре года мы с тобой только о смерти думали, пусть не о своей, а о той, что вокруг шлялась, теперь пора о жизни подумать... Ты после войны — скоро! — что будешь делать?..

— Не знаю,— тихо ответил солдат,— я еще ничего не умею. Я только воевать научился, пожалуй, убивать научился! Ничего другого не умею...

— Горы научат,— улыбнулся Цыган.

— Горы всему научат,— серьезно ответил Володя. Солдаты поднялись наверх, приоткрыли дверь и сразу поняли, что картина изменилась.

Монашки так же чинно, как стояли,— теперь сидели на своих табуретах. Все руки были развязаны, только как напоминание над их головами висели удавки.

Ведро с водой и блюдо монашки перенесли к двери — в зону врага — Кузьмин видел, что почти всю воду дев-

чонки вышили, а вот печенье и конфеты лежат рядом с каждой — на табурете.

— Ишь ты, от подарка не отказались — невежливо, мол, а есть не едят...

— Может, боятся отравы?

— А вода?

-- Ох, и змей ты, Цыган, тебя к нам в горы надо — дотошный мужчина ты...

— Иди, обедай, Ладо! — неожиданно назвал солдата Кузьмин.

Володя заулыбался.

— Иди, Ладо! — повторил солдат, — я подежурю. Командир на час вздремнуть лег. Ты к нему потом зайди, пусть через час кого-нибудь другого присылает... Или вот что — приходите все. Я тут моим балеринкам представление устраюю...

— Что задумал?

— Потом увидишь.

Газаев бесшумно исчез, растворился.

Прислонившись к притолоке, Кузьмин внимательно стал рассматривать девушек, чинно сидящих на своих местах.

— Что, дуры-лапочки, догадались, что позировать надо?

Одна из девушек поаккуратнее сложила руки на коленях.

— Правильно поняли... Вот так и сидите — ровно и красиво...

Цыган снял пилотку, снял ремень, стал расстегивать пуговицы на гимнастерке.

Увидев эти страшные приготовления, монашки в ужасе вскочили на свои табуреты и схватились за веревки.

Кузьмин рассмеялся, белые зубы брызнули светом с его загорелого лица и, набрав в грудь воздуха, он неожиданно для них — ясным и звучным голосом запел.

Он запел не песню, не молитву — просто пропел какие-то звуки, пропел полной грудью, свободно и красиво, и оборвал звук на высокой прозрачной ноте.

Девчонки замерли и выпустили петли.

— То-то, дуры, не шалить у меня...

Повернувшись спиной к монашкам — «вы меня не интересуете!» — он стал прилаживать на стене против них, у самой двери с двух ее сторон рулоны обоев, принесенные им, — прилаживать к стене лицевой стороной, наружу — тыльной. В деревянную обшивку загонял часто-

колом спички и на них, как на гвозди, развешивал обои.

Художник готовил холст.

Угли в котелке совсем остыли, он выбрал из них тот, что показался поприкладистее к пальцам, обломил лишние углы, подошел к стене, осмотрел ее еще раз и оглянулся на девушек.

— Ну, что вылупились? Может вас насиловать человек, который собирается рисовать вас, дуры? Ну, да ничего, потом меня расцелуете, если понравится.

Сдвинув густые брови, он смотрел на них почти сурово — художник смотрел на натуру, искал в ней главное — потом вдруг опять заулыбался и запел.

Девушки переглянулись — этот странный русский, неизвестно что собирающийся вытворять на стене и вообще ведущий себя загадочно, поет такое близкое им, родное — поет Шуберта... «Песнь моя, лети с мольбою тихо в час ночной...»

А Цыган уже работал, нанося на корявый от натеков клея лист первые стремительные линии, прилаживая уголь к грубой фактуре бумаги, к своей руке, привыкшей последние годы к тяжелой стали оружия, прилаживая себя к будущей мирной жизни.

У входа в трапезную, на улице рядом с Фоминым встали два солдата из третьего отделения, что были в стороне от последних событий, желая расспросить его поподробнее, что же такое приключилось на чердаке.

Не успел Фомиин поведать половины фактов и собственных комментариев, как один из солдат прислушался и толкнул Фомина в бок локтем:

— Не балабонь, Фомушка, затихни и послушай...

Солдаты умолкли — из раскрытых настежь чердачных окон лилась песня.

Мелодия была незнакома солдатам, но так проста и напевна, что казалась знакомой, во всяком случае — правдивой и грустной — почти своей! Мужской сильный голос вел ее уверенно и чисто. Солдатским ушам, привыкшим к грохоту до боли в барабанных перепонках, это не казалось чудом, перед которым нужно замереть — скорее раздражало, ворвавшись в их души напоминанием о прошлой мирной жизни, а они еще не остановили свой стремительный шаг войны, им еще идти до Вены, может, и дальше, а песня размягчала, поднимала со дна души все запрятанное, давно желаемое, почти забытое, ласковое —

почти запретное по их нынешней жизни,— запрещенное ими самими для себя.

— Слышь, Фомин, кто это там?

— Мне, братцы, Леонид Кузьмин не велел вам эту великую тайну открывать...

— Так это Цыган, что ли?

— Он.

— Песня вроде не цыганская?!

— Не!

— Вроде и не наша?

— А вроде — наша... До войны, помню, пели...

— В селе у тебя, что ли?

— По радио...

К солдатам подошли Гаврилов и Газаев. Командир не выспался, только еще больше разбередил многодневную усталость, но уговаривал себя, что здорово — полтора часа поспал!

— Что тут у вас?

— Товарищ лейтенант, Цыган концерт дает.

Солдат оглянулся, ища глазами Фомина, чтобы тот рассказал о секрете Цыгана, но его уже не было у дверей.

— Газаев, прикажи переводчика сразу сюда, как придет,— я послал связного с донесением в штаб полка, должны быть оттуда вот-вот, с минуты на минуту, по моим подсчетам...

То, что он послал связного, Гаврилов помнил, но когда?

Лейтенант с трудом припомнил, что сначала лег спать в келье, потом, почти во сне, встал, позвал связного и отправил его с донесением, а как лег опять — уже не помнит. Разбудил его Газаев.

Они поднялись наверх, и Гаврилов на цыпочках подошел к двери, заглянул.

Монашки не стояли на табуретах, петли не охватывали их шеи — девушки расположились внизу — трое продолжали сидеть на подставках, двое отошли к окну, одна, с небрежно повязанным платком и торчащими рыжими волосами, стояла шагах в двух сзади Кузьмина, а он, засучив рукава гимнастерки, выпачканный углем, пел, взглядывал на девушек, вновь поворачивался к стене и рисовал, продолжая петь.

Лейтенант шагнул на чердак, монашки кинулись было к своим скорбным местам, но он произвольно, как своим солдатам, махнул рукой, что означало — «вольно!», а по-граждански — «Да хватит ва-

лять дурака!» и подошел к Леониду, не глядя на них.

Это возымело действие — девушки вновь вернулись, кто к окну, кто присел на краешек табурета, а одна, самая маленькая по росту, развернула пакет с печеньем и, виновато оглянувшись на своих, стала аккуратно грызть хрустящие квадратики.

Лейтенант, почти в самое ухо, тихо прошептал Кузьмину:

— Это ты здорово придумал! Молодчага! Просто здорово! Я послал в штаб, чтоб переводчика срочно, так что скоро отмучаемся — а это ты здорово придумал...

Кузьмин отошел от разрисованного куска обоев и перешел к последнему — нетронутому.

Гаврилов отступил непроизвольно на несколько шагов, давая художнику дорогу, и оказался почти вровень с девушками. Он спиной чувствовал, как они напряглись, готовые к визгу и к любым другим глупостям, но, не обращая на них внимания, стал детально рассматривать уже сделанные рисунки, краем глаза видя, что и рыжая сделала шаг вперед, чтобы получше рассмотреть, и вдруг заулыбалась, застенчиво закрыв ладошкой рот, — словно остановила готовый сорваться смех.

В центре уверенными штрихами художник нарисовал лицо мужчины — это был автопортрет — шепот за спиной Гаврилова стал явственнее, девушки угадали, уловили схожесть, — но вместо гимнастерки Цыган одел себя во фрак с разлетающимися фалдами, с бабочкой на шее, со вскинутыми в приветствии руками — по выражению всей фигуры стало ясно, что это артист, закончивший выступление.

Справа одна за другой возникали фигуры, может быть, это были солдаты, но одеты они были тоже в штатское, они аплодировали своему товарищу, но мало отличались друг от друга — у художника не было времени на детализацию — уголь продолжал летать по бумаге, делая последние штрихи.

Группа слева — была женской — шесть женских фигурок, устремились к артисту с букетами в руках — все в одинаковых длинных хитонах, сквозь которые крепкая рука художника смогла ненароком показать все выпуклости женского тела — словно летели к нему с поздравлениями мирные грации в прозрачных накидках.

Рыжая хлопнула в ладоши и осеклась. Оглянулась. И захлопала в ладошки открыто и весело.

Остальные монашки улыбались и совсем не были похожи на монашек.

Цыган размахисто расписался в углу — «Бывший артист, бывший художник, бывший циркач — ныне рядовой взвода автоматчиков Леонид Цыган» — и выбросил остатки угля в окно.

Гаврилов повернулся к девушкам, они были совсем рядом, и вдруг смущенно опустил глаза: шесть пар девичьих глаз смотрели на него без опаски, открыто, хоть и сдержанно. Столько молодых девчонок рядом лейтенант Гаврилов давно не видел.

— Что будем с ними делать? — повернулся он к Цыгану.

В готовом виде зрителям было представлено вот что: в верхнем углу, намеченные только длинными линиями, стояли на своих табуретах, подпернутые удавками, шесть фигурок. Лица разобрать нельзя было, да художник и не стремился к детализации — только силуэты фигур.

Чуть ниже этого скорбного ряда были крупно нарисованы шесть мордашек — «вот те, кто стоит на табуретах, любуйтесь!» — шесть мордашек, сжавших губы, с вытаращенными глазами — здесь рука художника была правдива и точна.

Следующая композиция — все девушки в рядок сидели на табуретках, а веревки были просто игнорированы — «ничего не знаю про эти веревки, — как бы говорил художник, — и знать не желаю!»

Вместе с девушками лейтенант просматривал, как в кино, по кадрам то, что происходило в его отсутствие, и то, чему остальные участники были строгими судьями — художник едва заметным гротеском в линиях и углах, как бы убеждал натурщиц — «вот какой глупостью вы занимались несколько часов!»

Одно лицо из нарисованных было крупнее всех остальных и выполнено наиболее тщательно — головка рыжей девчонки, распустившей волосы.

Художник польстил ей в законченности черт лица, не сумев углем передать огонь ее волос. Дойдя взглядом до этого портрета, — рыжеволосая покраснела и улыбнулась.

Было среди рисунков и ведро с водой, из которого одна из безымянных пила, запрокинув его над головой, — Кузьмин с Газаевым не видели этого, это была шутка

художника и, судя по одобрительным шорохам за спиной, — шутка была принята и понята.

В дверях бесшумно появился Газаев и глазами подозвал командира, давая понять, что случилось что-то важное.

— Прибыли к нам! Приехал переводчик из штаба, и с ним какой-то строгий капитан...

По лестнице, ведущей на чердак, слышались четкие торопливые шаги.

Девушки чуть отступили от картины, чуть сгрудились.

На чердак вошли двое: первым — подтянутый, плотно сколоченный капитан, за ним, неуверенно — человек в штатском.

Военный представился:

— Капитан Гладков.

Гаврилов поздоровался с ним. Капитан что-то тихо ему добавил — видно, назвал свою должность и повернулся к штатскому:

— Знакомьтесь — Вальтер Шиллинг, антифашист, наш друг и переводчик, русским владеет хорошо.

Шиллинг молча протянул руку и повернулся к девушкам.

— Это ваши подопечные? — утвердительно спросил он у Гаврилова.

Лейтенант кивнул.

Капитан подсказал ему:

— Вальтеру нужно поговорить с ними... без помех. Дело деликатное, контакт с мирным населением, сами понимаете!

— Так точно! — отозвался лейтенант и обратился к своим: — Освободить помещение!

Кузьмин потянулся рукой к своим листам, будто намереваясь сорвать их, но капитан, успевший все разглядеть, не поворачиваясь к Цыгану, тихо сказал:

— Зачем вы это? Пусть висят!

Повернувшись в дверях к капитану, Гаврилов спросил:

— А вы, товарищ капитан?

— Я не помеха! — капитан скупно улыбнулся. Скупно только потому, что зубы у него были не совсем хороши, не украшали его, а он не хотел терять свое лицо в женском обществе враждебной державы.

Солдаты нехотя спустились вниз, но не разошлись. Цыган отряхнул с себя крошки угля, огляделся, заправился и словно захлопнул в себе азарт и вдохновение последних часов — художник снова стал солдатом.

Минут через двадцать двое вновь прибывших спустились вниз, следом за ними дружной стайкой пришли монашки и встали у дверей, ожидая распоряжений.

Капитан подозвал Гаврилова.

— Лейтенант, ты хорошее дело сделал, не простое...

Он взял под локоть Гаврилова и отвел в сторону:

— Тут еще не все до конца ясно... Дай мне отделение, твои завтра с полком вместе вернутся — мне этих девиц в штаб полка нужно доставить целыми и невредимыми. Они нам здорово пригодятся... Тебе спасибо. Твоему солдату спасибо...

Он огляделся и позвал:

— Солдат, подойди.

Подтянуто и строго Кузьмин подошел.

— Слушаю, товарищ капитан.

— Твои художества наверху?

— Так точно, товарищ капитан.

— Твоя фамилия Цыган?

— Никак нет — прозвище. Рядовой Кузьмин.

— Не ори ты так. Спасибо! Хорошая рука, дай пожму! — и капитан протянул руку, — а теперь оставь нас с лейтенантом...

Кузьмин отошел.

— Вот тебе, лейтенант, на память и для разъяснения солдатам — капитан достал из планшетки небольшой лист газетной бумаги, сложенный вчетверо, и развернул его перед Гавриловым.

Лейтенант только рассмотрел рисунок — удивленно присвистнул и вопросительно уставился на капитана.

Обняв его одной рукой, приезжий что-то доверительно рассказал Гаврилову.

Вальтер стоял среди монашек, говорил с ними, они охотно отвечали ему и украдкой поглядывали на солдат, стоящих поодаль и глазеющих на них — неужели беда миновала девушек, и будут они жить себе спокойно?

— Быстро в машину! — приказал капитан.

Монашки делово и без суеты забрались в кузов «газика», Вальтер поднялся к ним, первое отделение осторожно примостилось в заднем углу кузова. Машина тронулась, рыжая монашка улыбнулась и помахала Кузьмину узкой ладошкой.

Цыган подмигнул ей двумя глазами сразу, будто сморщился, улыбнулся и тоже легонько помахал рукой.

— Леня, посмотри, что мне капитан дал...

Гаврилов протянул лист бумаги, и солдаты, видя, что лейтенант не делает из этого секрета, сгрудились рядом, полезли друг на друга, чтобы разглядеть.

И все возбужденно загалдели, удивленно переглядываясь.

— Что это?

— Листовка!

— Так это ж наш монастырь на снимке...

— И наши повешенные! И впрямь — повешенные...

— А что написано, командир?

Гаврилов передал им разговор с капитаном, — эта листовка появилась сразу во многих городах и пунктах на пути продвижения наших войск и призывает население дать кровавый отпор варварам, которые оскверняют монастыри, насилуют и вешают монашек, — причем все шестеро действительно монашки, и тут их имена, и откуда они родом, и... как зверски уничтожены...

— Так это ж брехня! — возмутился кто-то из солдат, — форменная брехня, кто ж такому поверит?

— Еще как поверят! Вот капитан и повез их в город, к тамошним властям церковным, чтоб доказать, что это брехня, а те уж пусть свой народ вразумляют... Контрпропаганда называется...

— Не знаю, как называется — контрпропаганда или просто пропаганда, а то хорошо, что девчонки живыми остались... — сказал Цыган.

Вместе с сумерками этого длинного и напряженного дня в монастырский двор вползала тишина, в которой все отчетливее начинали звучать далекие орудийные залпы.

В последние дни войны лейтенант Гаврилов был тяжело ранен. Победу он встретил в госпитале, но еще несколько месяцев не знал об этом, потому что не знал ничего, что происходило в этом мире: он был без сознания, он был не здесь, а где он был, не смог бы объяснить потом, ни он сам, ни его лечащий врач.

Когда он смог читать, он получил пачку писем от своего солдата Кузьмина и прочел их в последовательности написания, узнав подробно, где он и что с ним.

Потом были и другие письма и ответы Гаврилова на них. Результатом их стало то, что друзья встретились в сорок девятом году в Липецке в драмтеатре.

Потом они вместе кочевали по провинции.

Увечье не позволило Гаврилову стать актером, но однажды обожженный театром, он остался в нем совсем — гримером — и преданно ездил вслед за своим другим актером Кузьминым.

В те годы, когда я работал на Урале, Кузьмина в театре не было — он уехал на высшие режиссерские курсы, потом на стажировку в Ленинград, а гример Гаврилов его терпеливо ждал.

Вот тогда-то, пятнадцать лет спустя после войны, я и увидел впервые рисунок шестерых неповешенных монашек. Рисунок, сделанный бывшим лейтенантом, ныне гримером Василием Гавриловым.

А еще двадцать лет спустя я увидел тот же рисунок, выполненный в той же манере другим и наставником Гаврилова — Леонидом Кузьминым...

И кто знает, довелось бы мне услышать рассказ о шести неповешенных, если бы не эти рисунки...

Рисунки, сделанные гримом.

УРОК ЧИСТОПИСАНИЯ

Г. М. Коваленко.

Мы с ним встречаемся раз-два в год, но когда он звонит, что бывает не чаще, я сразу узнаю его голос.

Вместе учились в «Театральном», но учились недолго: он ушел со второго курса в другой институт — тоже театральный, — но осталась друг к другу привязанность, может быть, потому что нелегко давалась актерская школа, да и потом судьба не баловала, во всяком случае, нам приятно видеть друг друга и, встречаясь, мы обходимся без обязательных — «Как живешь? Как семья? Как дела?» — обходимся и, если не хочется говорить, с удовольствием молчим друг с другом.

Полгода он не давал о себе знать — и вот позвонил:
— Привет!

— Привет! — откликнулся я.

То, что мы не стали даже называть друг друга по имени, имело свое объяснение: мы никогда не разыгрывали друг друга по телефону, меняя голоса, может, потому,

что была какая-то внутренняя память на индивидуальность голоса — этим люди разнятся так же, как отпечатками пальцев, — одинаковых нет.

— Чем занимаешься в ближайшие три дня? — спросил он.

— У меня отпуск еще не кончился, ты случайно застал меня дома, вечером отбываю к себе в деревню... — подробно доложил я.

— Вот, черт! — засмеялся Герман, — у меня тоже три свободных дня, потому и звоню... Хотел повидать тебя...

— Так давай со мной...

— А у тебя в деревне речка есть?

— Море есть, речки нету... Можайское море... Слышал о таком?

— Отлично. Ничего, что я напросился? Берешь с собой?

— Завтра в шесть сорок с Белорусского...

— А если на моей машине? — вежливо спросил он. — Дорога туда есть?

— Виноват — забыл.

И мы договорились, что утром он заедет за мной. Обещал он приехать с утра, часов в шесть, но через час перезвонил и уговорил отправляться немедленно — как раз к вечеру доберемся! Я согласился.

Эта осень была хмурой, неприветливой, только к Дорохову небо чуть развиднелось, но за окном машины было неуютно: поля словно продрогли, лес растерял свое роскошество и еще не приобрел зимний изысканный наряд, горизонт набух тяжелой влагой и не просматривался, хотя по Минскому шоссе есть такие взлеты, что видно далеко вперед уваливающуюся дорогу.

Говорили мы мало.

Мне нравилось в нем многое, прежде всего неназойливость — общаться с ним было легко, хотя не был он ни болтуном, ни молчуном — всегда умел находить и слова, и молчание, угадывая настроение собеседника.

Но в этот раз мне показалось: он не похож на себя тем, что его вовсе не заботит настроение собеседника, и молчалив он только потому, что озабочен своими думами, и рыбалка казалась пустяковым предлогом, чтобы поговорить, но удобным предлогом — впереди у него три дня, можно не налегать на время, оно само притащит нас к нужному разговору, в пужной обстановке.

Машина слушалась его, как умная, добрая собака,

и через полтора часа мы загнали ее во двор к моему дому в деревне, рядом с Можайским шоссе, там, где оно близко подходит к Минскому.

Он впервые был у меня на даче, но никаких восторгов — «Ах, как здесь хорошо! Ах, какой у тебя милый дом!» — не последовало.

Вечером он молча сидел на диване, щурил свои близорукие глаза, смотрел, как я готовлю нехитрый ужин — запас консервов избавлял меня от необходимости тратить на это уйму драгоценного времени, а отсутствие жены было оправданием скромного обеда.

Потом он перешел к затопленной печи и, как все горожане, долго смотрел на прихотливые языки пламени, слушал потрескивание поленьев, прикуривал от уголька и по-прежнему ничего не комментировал — был молчалив.

Я отварил картошки, достал банку грибов и капусты — он поковырял вилкой только их, к консервам не притронулся, к бутылке вина, которую я выставил на стол, — тоже не притронулся.

Я не торопил его с тем разговором, что прямо-таки осязаемо висел в воздухе. Придет время — расскажет, если захочет рассказать, что это вдруг пригнало его ко мне, а вместе со мной — вон из Москвы, а то, что он бежал из Москвы, я тоже почувствовал, хотя бы по той настойчивости, с какой он предложил уезжать немедленно.

Этот вечер не раскошелил его на золото откровений, он попросился спать, с тем, чтобы пораньше отправиться на Можайское море.

— Сколько до него? — ворочаясь, спросил он.

— Двенадцать верст, барин! — ответил я и заснул.

Я — соня. Он встал раньше меня, умылся, побродил по дому и решил протопить печь — я узнал подробности из его рассказа и потому, что проснулся от дыма, буйно заволкшего весь дом.

— Горим! — закричал он мне.

— Тупой горожанин, открой заслонку!

— А где она?

Пришлось встать и самому растопить печь, проветрить избу и приготовить нехитрый завтрак — обжаренный хлеб вприкуску со свежим малиновым вареньем.

Выезжая на шоссе, Герман спросил:

— Куда?

— Направо, в сторону Можайска... А там видно будет...

— То есть?

— К моему стыду, на нашем море я еще не был, хотя ему уже лет десять...

— Как же будем искать?

— Не иголка! Разыщем... По рассказам — дорогу знаю...

К моему удивлению и восхищению Германа, нигде не заплутавшись, мы точно выехали к Можайскому морю именно там, где по рассказам был лучший берег.

Берега моря не было — был лес. Нетронутый березовый лес, который круто обрывался, и дальше было много тяжелой осенней воды в таком количестве и пространстве, что усомниться нельзя было — перед нами море!

А лес остался лесом. Я увидел дуб, что рос, видно, на самом берегу после первого наполнения, но следующие паводки оказались выше предусмотренных, и он сполз в воду, но продолжал расти, стоя в метре от берега на личном островке.

Герман подогнал машину почти к обрыву.

Я пошел бродить вдоль берега, а он стал снаряжать спиннинг.

Скоро я вернулся, не углядев ничего необычного, и стал смотреть, как он, без особого азарта машет удилицем, чтобы блесна улетела подальше, потом крутит маленькое колесо, вытягивая невидимую леску, и все начинает сначала.

— Здесь нельзя! — услышали мы голос.

Сзади нас стоял парень в телогрейке, в кирзовых сапогах. Молодой, улыбчивый.

— Что здесь нельзя? — спросил я, обиженный негостеприимством родной земли перед горожанином — рыбаком, моим товарищем.

— Рыбалить нельзя. Санитарная зона. Только по лицензиям можно. Есть лицензия?

Парень смотрел дружелюбно, не угрожая, только подсказывая.

— Жаль! — сказал Герман и стал сматывать спиннинг.

— Сматывай удочки! — не удержался я.

— «Жигуленок» ваш у дороги?

— Наш, — ответил я, все еще обиженный.

— Здесь есть, где похлестать... На Исконе... А тут не надо -- рыбнадзор у нас вредный... — и парень засмеялся, возможно, своим воспоминаниям.

Герман, смотав спиннинг, вылез на обрыв.

— Далеко? — спросил он пришельца.

— Как сказать... Вы же не местные...

-- Я местный! — сказал я с вызовом. Это говорила моя обида.

— Откуда?

— Шаликовский.

— Понятно. Рузскую дорогу знаешь?

-- Знаю.

— По ней пять километров отсюда в сторону Рузы, там мост через Искону, сразу за мостом — проселком метров триста... Ставь машину и блесни... Щука есть... То есть была там всегда, а сейчас-то поздно — недели бы две назад...

-- А ты кто? — спросил я, — рыбнадзор?

Парень засмеялся:

— Разве я вредный? Рыбнадзор у нас вредный. А я местный... Чего думаю налетать вам на неприятности... Вижу — машина! Предупредить надо...

Парень оказался шофером — его самосвал стоял у дороги рядом с «Ладой».

Нашли мы Искону, нашли мост через нее и проселочную дорогу, что пролегла по плоскому берегу реки, а дальше сворачивала к темнеющему вдали сосновому бору.

Искона, полная воды, пожелтела, явственно бурлила, а берега были плоскими и бурыми — трава зачахла, торчали несколько метелок, высохших и корявых.

На открытом берегу было зябко и неуютно, и я стал ломать эти метелки, чтобы соорудить хоть небольшой костер. До соснового бора было далековато, и не было у меня желания тащиться туда за дровами, да и погода не располагала к долгому общению с природой — нужен был, как можно скорее, чудотворный огонь.

Герман стоял у машины и смотрел на мутную Искону.

— Ты что, «хлестать» не будешь? — уверенно спросил я, помня слова нашего спасителя от рыбнадзора.

— Парень прав... Недели бы две назад...

И все-таки он достал спиннинг, чтобы совесть была спокойна, покидал на середину реки блестящую штуку — вскоре деловито собрал рыболовные снасти в чехол и кинул в багажник.

— Ну что — по коням и домой? — спросил я.

Он молчал, оглядывая другой берег Исконы, где за изгибом реки виднелись веселые купола церкви.

Кроме этого строения, — ничего людского вокруг

не было видно — удивительное место, будто железобетонный век и не прикоснулся к нему.

Я подбросил в костер еще несколько метелок, а он присел рядом и спросил неожиданно:

— Ты Влтаву видел?

«Вот оно, начинается!» — подумал я.

— Нет, не видел, а что, похожа на Искону?

Он улыбнулся:

— Нет. Влтава — река серьезная...

И еще помолчав, добавил:

— Хочешь расскажу, как я ту реку, Влтаву, увидел?

Я изъявил радостное согласие, но ему трудно было сразу начать свой рассказ, он все примеривался к нему, пристраивался и, наконец, заговорил:

— Лет десять назад были на гастролях в Чехословакии...

К первой своей поездке за границу Герман готовился, как к экзамену в школе, — читал все, что попадалось о Чехословакии, достал разговорник и выучил самые необходимые фразы на чешском, чтобы не затеряться на улицах Златы Праги.

Ему перевалило за тридцать, а он ни разу не ездил за границу. Театр выезжал почти каждый год, но каждый раз репертуар не имел к Герману никакого отношения, вернее, Герман — к репертуару, и он с грустью слушал рассказы коллег о гостеприимстве болгар, об уютных немецких городах, о чуде — по имени Париж...

И вот теперь он ехал в Прагу.

Прилетели под вечер.

Аэропорт был похож на другие аэропорты мира, автобус привез их в гостиницу, потом разбирались с вещами, с номерами, потом всех повезли ужинать в небольшой уютный ресторан. Вернулись назад поздно ночью, он лег спать, так и не увидев города...

На утро была объявлена экскурсия по городу, на которую собрались не все — счастливики, исколесившие Европу, сладко отсыпались после дружественного приема, но Герман первым сел в автобус, на первое место у двери, чтобы обзор был лучше. На задних сиденьях смотришь только в боковое окно, а здесь перед тобой все как на ладони.

Ранняя легкая осень не была похожа на нашу.

Солнце грело по-летнему, воздух чистый и ясный. А розовые, серые, зеленоватые дома старой площади дразни-

ли воображение высокими удлиненными крышами, дубовыми почерневшими дверями, отсчитавшими не одну сотню лет, и мостовая прямо-таки приглашала пройти по ее вековым плитам и брусчатке.

Но Герман решил, что будет время и походить всласть, сегодня же надо посмотреть город, именно Город, а не улицы, получить первое представление о целом, чтобы потом вкусить и полюбить частности, а то, что он полюбит этот город, он не сомневался.

Ощущение праздника, начавшееся вчера вечером в ресторане, приветливость хозяев, вальяжность его товарищей, по прежнему опыту оценивших прием и понявших, что этот месяц будет полон встреч, застолий, увлекательных поездок за город, о чем предупреждали хозяева, — не покидало его, а все усиливалось.

Он твердо решил, что не пропустит ни одной экскурсии, снаť будет минимально, словом, возьмет от этой поездки столько впечатлений, сколько его коллеги взяли от десяти предыдущих.

Обостряло его решение и грустная мысль, что это — первая его поездка, а будут ли другие, опять будет зависеть от репертуара, который, увы, от него, Германа, не зависит.

Он без раздражения ждал опаздывающих, твердо решив не уступать свое прекрасное место по праву новичка в таких поездках.

Наконец все разместились, и из гостиницы появились двое — представитель гастрольного бюро, что вчера уже опекал приезжих, и с ним невысокая девушка, незнакомая гостям.

Они легко вскочили в автобус, представитель взял микрофон и с сильным акцентом сказал по-русски:

— Меня вы знаете. Знакомьтесь, Эва. Ваш гид и переводчик, будет вашей спутницей все дни и во все времена. Русский язык она знает хорошо. Не так, как я... Она сама скажет...

Девушка сверкнула зубами, взяла микрофон:

— Меня зовут Эва. Я закончила славянское отделение филологического курса в университете, буду вашим переводчиком, а сегодня постараюсь быть для вас хорошим гидом по городу.

Она говорила легко, быстро, без акцента, и Герман подивился, что она совсем не похожа на иностранную девушку. Недлинные густые волосы были коротко остриже-

ны и совсем не уложены: видимо, Герман просто не понимал, сколько труда и искусства требует такая «неуложечность».

Большие темно-серые глаза, на удивление подвижные, вспыхивали каждый раз, как Эва видела новый объект своего внимания — будь то человеческое лицо, фонтан, красивый дом, проезжающая машина — она загоралась, как ребенок, словно боялась пропустить самое интересное в жизни. Она была полна азарта молодости и, не сдерживаясь, расплескивала его.

Так думал Герман.

Многие в автобусе, оценив по достоинству ее живость и стремительность, не преминули про себя отметить — «Высший профессионализм!»

Позже выяснилось, что был прав Герман — это был ее характер, но не владение профессией общительного гида.

Герман оказался рядом с ней — она заняла место около водителя, чтобы хорошо видеть дорогу и всех сидящих в автобусе. Он снял очки, чтобы не так нахально рассматривать ее, потому что увидел главное, и это главное сразило его — она показалась давно знакомой, то есть такой, какую он давно хотел бы повстречать.

Сердце его замерло — «Как это, так сразу?» — и заликовало — «Только так и может быть — сразу!» — но сомнений не было: ее присутствие сковало его, взбудоражило, праздник, начавшийся вчера, сегодня перешел в новую, более высокую фазу, к нему прибавилось главное — женщина!

Чуть позже Герман вновь надел очки, задал Эве несколько вопросов. Она с готовностью ответила, глядя ему пристально в глаза и как бы вызывая на новые вопросы — «Я готова отвечать!»

Он успел заметить, что верхняя губка у нее очень подвижна и на ней уселились бисеринки пота, она иногда их сдувала, выпятив нижнюю губу, иногда слизывала острым кончиком языка.

Дольше смотреть он не мог, снял очки и уставился в окно, ничего не видя, с трудом вникая в то, что она говорит, но с замиранием сердца вслушиваясь в интонации ее голоса и боясь повернуть голову в ее сторону, — он смотрел в боковое окно, что было неудобно и бессмысленно на первом сиденье.

Закончилась экскурсия по городу, автобус привез их к гостинице.

Герман первым вышел из автобуса, надел ненавистные очки, как бы воздвиг преграду между собой и этой женщиной, что нежданно-негаданно ворвалась в его душу.

Он замешкался у двери. Эва опустила ногу на нижнюю ступеньку и взглянула вниз, словно боясь ступить, — она была мала ростом. Герман протянул ей руку, она схватилась за нее, легко спрыгнула и, не отпуская его, взглянула снизу вверх своими распахнутыми глазами.

— Спасибо! — сказала она и замерла с полуоткрытым ртом — так пристально глядел на нее очкастый русский гражданин.

— Герман! Меня зовут Герман! — представился он.

— Спасибо, Герман!

Он не отпускал ее руку, она не вырывала ее, и Герман понял, что краснеет.

Самым удивительным для него была реакция Эвы на явное смущение русского — легкий румянец вспыхнул на ее щеках. Именно в этот момент Герман разглядел на ее лице мелкие веснушки. Она слизнула капельки пота с верхней губы и еще раз сказала:

— Спасибо, Герман!

Герман смотрел в сторону мутной Исконы, но вряд ли что видел. Очки он снял, пожалуй, от этого ему лучше было видно то, что происходило десять лет назад...

— Всего два слова — «Спасибо, Герман!» — а для меня... Для меня... Я весь день повторял ее слова, повторял про себя ее интонации, которые показались мне необычными и исполненными глубокого смысла... Мне и не пришло в голову, что это всего-навсего иная манера общения мужчины и женщины, иная, чем у нас... Я уловил в ее интонациях глубокий смысл и даже подтекст... Не забывай, что был еще достаточно молод, не женат и что приехал на первый заграничный праздник — в Злату Прагу! Представь себе, что это была моя первая и последняя экскурсия по городу... Потом я исходил его вдоль и поперек, но, поверишь ли? — ничего не запомнил! Помню — много домов, много кафе, много булыжных мостовых — но ничего конкретного, ни в архитектуре, ни в запахах — все слилось, ничего не запомнил, а гид у меня был прекрасный — Ева. Она себя называла — Эва!

за руки, исходили все улицы старого города, промерили ногами все набережные и мосты, посидели в нескольких кафе.

Устали.

— Пойдем ко мне! — решившись, сказала Эва.

Она жила с родителями, но у нее была своя однокомнатная квартира, где она работала, куда приглашала друзей или отсиживалась, уставая от родительской опеки, — родители обожали ее.

Посреди комнаты, будто перегораживая ее на две отдельные, стоял допотопный широченный диван, обтянутый мягкой кожей.

Герман сел в угол дивана и затих. Рядом, на низких ножках, притулился приемник — тоже допотопный — Эва включила его, он замигал зеленым глазом и зазвучала тихая музыка, чтобы не прекращаться до утра.

Женщина сварила кофе, придвинула к дивану низкий столик, переделалась в длинный халат, забралась с ногами на диван, прижалась к плечу Германа и затихла.

Их освещал только зеленый огонек приемника, тихо слышалась музыка, еще тише они шептали что-то друг другу, бессвязное, ласковое и грустное, понимая, что отпущенное им время прошло.

Возвратившись в Москву, Герман терпеливо ждал, когда спадет наваждение, когда же он поймет, что их встреча была только добавлением к шумному празднику, продолжением его, что только обстоятельства этого праздника, всеобщая атмосфера любви, сблизили их, и чем скорее очнешься от этого, тем трезвее взглянешь на жизнь, что так сложна и запутанна, и трудна, что праздники только потому и называются так — они исключение из трудной жизни, — они от праздности!

Наваждение не проходило.

Они писали друг другу письма. Сдержанные письма, продиктованные боязнью узнать от адресата, что он излечился от воспоминаний и только вежливость заставляет его поддерживать эту бесперспективную игру.

Наконец, они перестали писать — нет, не письма! — они перестали писать друг другу сдержанные письма, потому что поверили, что с ними произошло чудо, бывающее не только раз в жизни, порой вообще не случаемое.

Герман высчитывал месяцы и дни до предполагаемой встречи в Москве в следующем году.

Герман готовил Эве сюрприз.

Он учил чешский язык.

Старательно, обзаведясь учебниками, ничего не сообщив Эве об этом, он готовил ей подарок — через несколько месяцев он обязательно напишет ей письмо на ее родном языке.

Он вгрызался в непривычные обороты и выражения с такой яростью, будто нашел достойного противника, мешающего им, и, стоит ему одолеть врага, — они придумают, как им быть вместе.

Он знал два языка — по школьной и по институтской программе он умудрился так прилежно пройти, что сносно говорил на немецком и французском, педагоги считали, что у него предрасположение к языкам, — но чешский оказался много труднее и неожиданнее.

В театре коллеги смотрели на него с удивлением — Герман, всегда немного чопорный, суховатый, сдержанный — «человек в себе!» — будто проснулся от долгой спячки и в тридцать лет стал озорным, смешливым пареньком-очкариком! Даже близорукость не угнетала его, в одной из новых ролей несколько сцен он построил на своем недостатке — близорукости, что вкупе с его долговязостью делало его смешным и трогательным.

Он с гордостью — на русском пока! — написал Эве об этом, это был их общий успех.

Он завел дневник и неожиданно обнаружил, что «словесность» приятна ему, слова слушаются его и выстраиваются, подвластные биению сердца...

Но они, слова! — были послушны ему только в одном, в таинственном мире, где царил дух Эвы... Он не понимал, что не слова послушны ему, а память благосклонно откликается на приметы, понятные только ему, и не слова закрепляют пережитое, а пережитое, память, наделяют незначительные иероглифы живым чувством...

Слава богу, он никому не давал читать свои записи, потому что спустя годы прочел их и поразился, насколько беспомощен его язык и как все слова пусты и бесцветны — они не сумели навечно закрепить движения его души. Потускнели воспоминания, и слова обнажились в своей изначальной скудости...

В своей холостяцкой комнате он навел такой порядок, что сам ужасался ему, ибо стал его рабом.

Но дух Эвы сглаживал все иронические выпады по отношению к самому себе, и он с новым тщанием и прилежанием ладил полки для книг, драил шкуркой старые стулья, покрывал их лаком, и они, не став изящнее, становились свежее и привлекательнее на вид... Она будет довольна его старанием!

Из всех заработков откладывал он деньги на лето, на тот месяц, когда Она будет в Москве, чтобы сделать Ее жизнь удобной и беззаботной.

О будущем, о далеком будущем он не думал. Его не существовало — существовал только некий месяц, когда Она с группой артистов чешского театра будет в Москве.

Наконец, в феврале — ему понадобилось всего несколько месяцев для изучения языка! — он сел за долгожданное письмо.

Он писал на ее родном языке. Писал откровенно, словно чужой язык был надежным конспиратором чувств, писал, вспоминая их маленькие тайны, вспоминая запах ее волос, бисеринки пота на верхней губе, вспоминая дрожание ее губ и тихие слова в ту ночь, освещенную зеленым огоньком приемника... Вспоминая все, что было с ним все эти месяцы таким, каким оно было миг назад — в Праге!

Письмо получилось длинным.

Он отослал его.

Герман уже не мог быть в машине. Во время рассказа он стал ходить вдоль нее, а я сидел при открытой дверце и слушал. День растеплился, ветра не было, и только стремительная мутная Искона, до краев наполненная дождями всей округи, подсказывала, что время идет, время летит, как и ее стремительный поток, и остановок ему нет, и быть не может.

— Ответа я не получил, — продолжал он. — Сначала решил, что ее ответ затерялся на почте. Проверил. Нет, писем на мое имя не было. «Пишут». Потом я решил, что письмо потерялось, и срочно написал другое — на русском, на упражнение в чешском уже не осталось сил и терпения, — я задавал в письме только один вопрос — получила ли она мое предыдущее письмо на чешском языке? Ответа не было. Я не знал, что и думать... Прошло два месяца... Мне все опостылело, все валилось из рук...

Отполированные стулья меня раздражали, я пытался навести дома прежний беспорядок — холостяцкий рай! — но уже не мог... Кстати, с тех пор, любой беспорядок раздражает меня... В каждом плохом деле... Впрочем — это неудачная шутка... Что случилось, думал я? Как узнать? К кому бежать? Я отправил еще одно письмо, хотя мог бы послать просто телеграмму, потому что в письме был только один вопрос — что случилось? Ответа не было...

Ранней весной Герман узнал, что гастролы чешского театра в Москве отменяются. Узнал случайно от своего приятеля, занимающегося зарубежными гастролями и гастролями приезжающих к нам. Значит, Эвы не будет в Москве. Может быть, никогда.

Он вновь стал прежним Германом — немного замкнутым, сдержанным, стесняющимся своей близорукости.

Близился отпуск — два пустых месяца — Герман не умел отдыхать.

Ему предложили концертную поездку с бригадой по Дальнему Востоку, он с радостью согласился, потому что поездка была запланирована на весь отпуск, а работа лучшее лекарство от всех бед и сомнений...

Он уехал и не мог знать, что гастролы чешского театра все-таки состоялись, именно в эти месяцы, и проходили в помещении того театра, где он работал.

На Дальнем Востоке он сильно простудился и две недели нового сезона провалялся в больнице с воспалением легких.

Была осень, когда он, побледневший, похудевший, хотя, казалось, при его «фактуре» это невозможно, пришел в театр. Дежурная на проходной на пятый день вспомнила:

— Герман, совсем забыла, тебе письмо тут валяется!

Письмо пролежало в театре с июня месяца, а было начало сентября!

Письмо было написано по-чешски, но он сразу узнал ее почерк, хотя не видел ни строчки, написанной ею на родном языке. Он так волновался, что никак не мог понять его смысл. Бросился домой, достал словари и учебники и стал дотошно исследовать каждое слово письма, чтобы не извратить его точный смысл.

Это было письмо женщины оскорбленной, и она не скрывала этого.

Смысл его сводился к тому, что она была жестоко обманута Германом, и вот почему. Не может нормальный, здоровый человек — или это вошедшее в кровь лицедейство? — писала она, — не может доверять чужим людям самое святое, интимное, ради того, чтобы поразить ее! Он согласился постороннему человеку показать ее нижнее белье, чтобы тот сумел на чешском языке описать его прелести...

Он долго не мог понять причин ее гнева, он не мог понять, о каком постороннем человеке идет речь, пока не прочел главного.

Ее гнев доказателен — в его письме нет ни одной грамматической ошибки!

Вывод ее был категоричен и прост — либо письмо он продикировал знающему чешский язык, что просто отвратительно, либо — что, впрочем, еще хуже! — он сам знает язык и знал его, когда приезжал к ней, но скрыл это...

Он был ошеломлен, ошарашен, возмущен и разбит..

Первым его желанием было резко ответить ей...

Но, что ответить и на каком языке? — Теперь она не поверит ни его русскому, ни его чешскому...

Желание ответить резко — прошло...

Он решил ответить спокойно, с достоинством, может быть, даже с грустной иронией по несовершенству человеческого...

Но каждый раз, как он говорил себе — «Я ей отвечу!» — ему становилось холодно и пусто, потому что об Эве, о своей Эве теперь он думал — «ей». «Ей отвечу!» Ей!

Он не называл ее Эвой, даже про себя, уже несколько месяцев.

Спустя годы он женился.

Ему не было сорока, жене чуть меньше, она чем-то неуловимо напоминала Эву, но не до такой степени, чтобы превратить его и ее жизнь в пытку воспоминаний.

Жизнь вел размеренную, купил машину, пристрастился к рыбалке, — любит уезжать на неделю, на две к своим друзьям в Прибалтику.

На рыбалку ездит без жены.

— Вот такая история! — закончил он свой рассказ, хотя мне не было ясно, закончил ли?

Я ничего не ответил. Мы наломали еще сухих метелок и погрелись у вспыхнувшего пламени.

К дому мы поехали кружным путем, ему захотелось посмотреть эту глухую дорогу, что вела в сторону Рузы.

У самого дома он спросил:

— А ты знаешь, почему я так обрадовался поездке к тебе?

— Расскажи.

— Легальная возможность удрать из Москвы. Сбежал.

— От жены? — предположил я, хотя мне казалось, что ответ я знаю, во всяком случае близок к нему.

— Нет. От Эвы...

Он включил мотор, снял очки, протер их, снова водрузил на нос.

— У нас с завтрашнего дня — гастроли чешского театра...

— Вот те на!

— У меня двухнедельный отпуск в связи с этим... Удачно, что к тебе заглянул — выговорился... Поеду от тебя в Белоруссию, к приятелю. В Можайске заправка есть?

Я молчал. Он не договаривал и в этот раз.

— Ну да! — кивнул он на мой немой вопрос. — Эва с ними приезжает. Она режиссер их театра... Сменила профессию в тот же год... Мне сюрприз готовила... Ну тогда, лет десять назад...

Утром он уехал.

В сторону от моей деревни: налево — к Москве, направо — в Белоруссию.

Не знаю, куда свернул он...

ПОСЛЕДНИЙ СПЕКТАКЛЬ

«Наша уральская зима — не для нервных!» — говорили старожилы города.

Зима в самом деле бывала суровой и резкой. Редко выдавались солнечные дни, но обычно — серое низкое небо с тяжелыми лохматыми тучами, ветер, валящий с ног, и мороз, нередко — за сорок.

Актеры театра редко пользовались автобусом по причине малости города, выросшего при большом заводе. Автобусы ходили редко, расписание было рассчитано на рабочие смены, а работникам театра из любого угла города можно было добраться до места за пятнадцать — двадцать минут.

В те дни, когда мороз падал до сорока и ниже, а ветер смешивал острую снежную крупу так, что нельзя было разобрать, где мостовая, где твердая земля, а где твердь небесная, — в проходной театра, сразу у двери, дежурила пенсионерка Анна Алексеевна, внимательно оглядывала лица входящих, имея наготове шерстяной платок, чтобы растереть побелевшие носы и щеки.

Владимир Медведев в такие дни проделывал путь от дома до театра в рекордные сроки по многим причинам. Во-первых, он был молод, во-вторых, родом из Подмосковья, где такие морозы — раз в сто лет, а в-третьих, из-за первой причины — молодости! — принципиально не носил нижнее белье и шерстяные носки. Путь до театра он проделывал за десять минут, но их хватало, чтобы потом в тепле ноги ныли по часу и отходили от мороза колющей и резкой болью.

— Что ты такой настырный, Володя?! — Анна Алексеевна, дежурившая в морозные дни, каждый раз начинала этот разговор, — взял бы ты валенки в костюмерной и бегал себе на здоровье! У тебя же не ботинки, а одна видимость, а носков шерстяных нет...

— А мы в Москве все такие! — непослушными губами пытался говорить Медведев.

— Свяжу я тебе носки, из домашней шерсти, свяжу обязательно... — так говорила она вторую зиму, но, вероятно, Медведев так активно отнекивался, что она не выполняла своего обещания.

Владимир чмокнул ее холодными губами в щеку, в теплую, морщинистую, как у мамы, и молча побежал в раздевалку, краем глаза заметив, что дверь сзади него распахнулась, и в клубах пара появились двое.

«В клубах пара — появилась пара!» — бормотал он про себя, исчезая из их поля зрения. Вошедшие вслед за ними были из тех немногих актеров в театре, с кем он не любил общаться, потому что всего-навсего — побаивался.

Судя по тому, как засуетилась Анна Алексеевна, как вынула из-за стула веник, как заулыбалась, было ясно, что вошедшие пользуются, если не любовью в театре, то

во всяком случае уважением и занимают, как принято говорить в наше время, престижное положение. Что это такое, мало кто объяснит вразумительно, но актеры народ доверчивый, любят пользоваться туманной фразеологией, неуловимой, необъяснимой и необъясняющей, но в которой «что-то» есть!

Светлана Васильевна Дроздова и ее муж Игорь Михайлович Пряничников одним своим видом вызывали к себе почтительное отношение. Жена была лет на двадцать моложе, и своей подтянутостью, опрятностью только подчеркивала немного усталую красоту мужа. Его лицо было ухожено и не носило на себе следов порока — сразу было видно, что он человек положительный, не пьющий, не курящий, регулярно делающий зарядку.

Костюм был безупречен, как и лицо, но было в нем что-то от «старой закваски», что смиряло иронию молодых — он умел носить костюм, как лорд, и ходить, как наследный принц! Впрочем, кто их знает, как они ходили, во всяком случае, в театре их изображают такими!

Но дистанция оставалась — и молодые актеры, включая и Медведева, чурались его изысканной вежливости и деликатной холодности и, будучи сами носителями некоторых пороков, побаивались.

Поговаривали, что Пряничников не только закончил столичный институт, но и многие годы работал в столичном театре не без успеха, но потом с ним случилась романтическая — «романическая!» — история, где Светлана Васильевна сыграла главную роль, но и жена не смирилась с ролью статистки и сыграла свою роль, в результате чего вновь образованная пара вынуждена была искать прибежище в городе, далеко от столицы.

Она была ведущей артисткой драмы. Ее муж успешно работал и в драме, и в оперетте, имея не сильный, но чистый голос и отличный слух, безукоризненные манеры для ношения фрака и довольно стройную — недоброжелатели добавляли «не по годам!» — фигуру! Ведущим актером его никто не называл, но манера общения и свойства характера, замкнутого, ироничного, создали ему определенную репутацию — за панибрата никто не посмел бы говорить с ним. Именно это и было причиной их несколько обособленного положения в театре, но, казалось, им самим это не только не в тягость, но они и не собираются разрушать незримый барьер вежливой холодности, созданной ими. Может быть, этот барьер нужен им был временно,

чтобы отдохнуть от сложных коллизий жизни, оставленной в столице?!

«В театре не должно быть друзей,— заявил он на одном из первых собраний труппы, где ему довелось присутствовать, чем дал пищу для разговоров на долгие недели! — Мы прежде всего и только — коллеги! Для работы это главное!»

Светлана Васильевна обсуждалась в театре дольше и с меньшим успехом — в ней было меньше определенности. В тридцать с небольшим, она была стройной и легкой. Несогласные с подобной оценкой, называли ее просто «плоской». Косметику употребляла только для сцены и минимально. Прическа была постоянной, естественно, в жизни! — легкие пепельные волосы, ровно зачесанные назад, на затылке были прибраны в небольшой, всегда аккуратно уложенный, пучок. Небольшой ровный носик. Небольшие серые глаза.

Самым примечательным в лице были губы, четко очерченные и чуть выпуклые,— и! — неожиданная белозубая улыбка, сверкающая, чистая, широкая! Это улыбка, глаза, непосредственно округляющиеся при неожиданных известиях, некоторая вульгарность речи — забываясь, она иногда «гакала», иногда говорила «чевойто» и другие мелкие бытовизмы в речи, дали сплетницам театра право называть ее бывшей домработницей и уверять несогласных, что это сущая правда: «Она — бывшая домработница Пряничникова, жена их выгнала, и все такое...»

Всегдашняя ее вежливая манера общения, подтянутость и корректность, казалось, отрицали подобные фантазии, но для изощренных душеведов служили бесспорным подтверждением — «Держится, чтобы не выдать себя!»

В этот морозный день в театре собралась почти вся труппа в ожидании приказа с распределением ролей в новой пьесе, в пьесе о любви, что всегда заманчиво на фоне бесконечных пьес о бесконечных хлебных полях и прогрессивном производстве.

Оживленных разговоров не было — было ожидание. Актеры группами сидели в гримерных, вяло перебрасываясь незначительными фразами, наиболее нетерпеливые бегали к секретарю дирекции с одним вопросом:

— Когда?

Ответ был лаконичен и точен:

— Скоро.

Пьесу читали две недели назад на труппе, пьеса была

принята единодушно и восторженно, и в тот же день в театре начались бесконечные самодеятельные распределения ролей.

Медведев две недели ходил героем — он не обсуждался, он был единственным претендентом на роль героя, это было так явно, что никто даже не стучал «по дереву, чтобы не сглазить». Роль его возлюбленной вызвала «цунами». Претендентов оказалось много, и в каждом углу, в каждой группе распределяющих была своя фаворитка, так как — опять же единодушное мнение! — Дроздова категорически не обсуждалась как претендентка! Она была ведущей актрисой в труппе, и вдруг не обсуждалась! Простор для вакансий!

Мягкие суждения были лиричны — «Она несколько старовата для героини, да дело и не в ней — играть героя может только Медведев, а рядом с Володей — Светлана Васильевна? Ну, вы меня извините!» Более суровые суждения сводились к тому, что героиня пьесы самоотверженна, темпераментна, откровенна в любви, а эти качества и не ночевали в «сухой и плоской» Светлане Дроздовой.

Медведева мало волновал вопрос, волнующий весь театр: кто будет его партнершей?! Собственная роль так нравилась ему, так подогревала честолюбие, что все его мысли свелись к одному — сыграть — не важно с кем! — хорошо эту роль, за ней последуют другие, а там... И мечты уносили его далеко от провинциального города, туда, где свет ramпы ярче, где людей на улице больше, где есть газеты и журналы, в которых может большими буквами появиться твое имя...

У тех актрис, что фигурировали в списке претендентов, при встрече с Медведевым горели глаза, прерывался голос, походка становилась иной — они играли в жизни «его» героиню, на всякий случай. Может же так случиться, что режиссер спросит его мнение, и тогда Медведев сможет замолвить слово...

Словом, две недели театр жил полнокровной закулисной жизнью, которая сегодня же, после того, как вывесят приказ, потускнеет, войдет в привычные рамки повседневности, и глаза актрис перестанут сиять при встрече с Медведевым, и походка станет деловой и скучной, и покачивание бедер будет вспоминаться, как забытые уроки по сцендвижению...

Но эти две недели внимание актрис льстило молодому актеру, делало его взрослее, как ему казалось, а на деле —

он носился по театру с горящими глазами, не видел ни призывных взглядов, ни заманчивых телодвижений, много смеялся, острил невпопад, либо вдруг спохватывался и замирал с выражением некоторой меланхолии на лице, с выражением человека, много повидавшего в жизни, прошедшего суровую школу, человека хлебнувшего... Но подобных героических усилий хватало ненадолго, и молодость брала свое — его видели сразу на двух этажах и в буфете одновременно.

Ему казалось, что репетиции будущего спектакля будут полны нежности, немного влюбленности, сильных человеческих чувств, страданий, которые он сумеет сыграть, кто бы ни стал его партнершей.

Ничто не могло, казалось, испортить будущий праздник, именно поэтому он был испорчен в тот час, когда вывесили приказ. Впрочем, случилось то, чего и следовало ожидать — на роль его возлюбленной была назначена Светлана Дроздова как лучшая и ведущая актриса труппы.

На роль героя — Медведев. Но он даже не сумел обрадоваться своему назначению, как только прочел фамилию Дроздовой — он был так ошеломлен, так стремительно увяло прекрасное будущее, что он на миг пожалел, что эта пьеса вообще готовится к постановке в его театре.

То, что Дроздова завалит роль — не обсуждалось, — это было ясно. В этой резкости суждений можно ли винить молодых актрис театра — еще одна редкая женская роль прошла мимо?!

Мужчины были уверены, что и Медведев завалит роль, и вот почему — сыграть на сцене любовь нельзя, надо хоть в малой мере ее почувствовать, а двадцатидвухлетний Медведев будет не то, что любить, а просто бояться тридцатишестилетнюю классную даму Васильевну!

В разных вариациях, но все сошлись в одном — спектакль обречен на провал, на этом страсти утихли, чтобы завтра вспыхнуть с не меньшей силой, но по любому другому поводу.

Коридоры опустели — пора и делами заняться. Владимир, удрученный случившимся, тоже собрался уходить из театра, — не было желания говорить о пьесе, строить планы, фантазировать! Все пропало. На лестнице ему встретились двое — Дроздова и Пряничников. Вежливо поздоровались, вежливо поздравили Владимира с хорошей ролью. Причем было сказано — он даже не понял, кто это

сказал, он или она — «Мы поздравляем», будто Медведеву предстояло играть не с актрисой, а с целой семьей.

Пьеса стала казаться нудной и скучной... и фальшивой!

Вечер у молодого актера был свободен, он пошел к одному приятелю, посидел недолго, пошел к другому, но разговор не клеился, не ладился — ему не могли сочувствовать, ему могли только завидовать, что бы он ни говорил — не могли голодные разуместь сытого, да еще привередничающего!

Поздно вечером в своей холостяцкой комнате в коммунальной квартире, он заедал горячими пирожками и сладким чаем горечь неудачи — соседка опекала его и всегда оставляла на плите горячий чайник и несколько пирожков, кои она пекла каждый день по велению строгого мужа — это и называлось на языке ее мужа, подружившегося с Владимиром, — о п е к а т ь! То есть печь соседу пирожки!

Он забрался с ногами на диван, укрылся одеялом и стал листать пьесу, пожеывая пирожки, запивая их чаем. Листы проплывали перед глазами, не задевая душу ни единым словом, ни одной сценой. Гиблое дело, решил Медведев.

Он не отдавал себе отчета в том, что весь день, подспудно, в самом темном уголке мозга, в самой затаенной глубине души, — крутились неясные женские образы, возникали целые сцены и во всем этом неясно, лишь намеком существовала Светлана Дроздова.

Он пытался вспомнить все их прежние случайные встречи в театре, когда бы она показалась ему привлекательной, женственной, забавной, красивой, и не мог...

Если бы он смог расшифровать свои неясные видения, полунамекы, то подивился бы насколько память его — подсознательная! — богаче, чем все зафиксированное словами и определениями, тогда он понял бы, что у нее ладная фигурка, и хоть для женщины она высока, поэтому ходит в обуви на низком каблуке, но походка ее легка, может только чуточку слишком определена, что называется, «спортивна»! Она носила платья строгого покроя, чаще всего перехваченные в талии пояском. И еще, если бы он мог дать себе в этом отчет, он несколько раз за день вспоминал ее руки — они были женственны и неуправляемы в моменты восхищения или удивления — то были руки непосредственной девочки, но не взрослой женщины!

Но это были такие едва уловимые мелочи, что Медведев

не смог представить Светлану Васильевну ни в одной из сцен пьесы и со вздохом зачихнул под подушку большую не толстую книгу.

Начались репетиции на следующий день. Провинция не располагает временем для долгого высиживания райских птиц творчества — «Завтра первая репетиция. Через месяц — премьера!» И, будьте любезны, работать!

Актеры читали вяло, без огонька, уставившись носами в тексты ролей. Они понимали, что пьеса написана так, что все зависит от двоих — главных героев — остальные только фон. Если главные не сыграют главное — любовь! — трагический финал спектакля будет нелеп, а значит, не будет спектакля, а будет провал.

Маленькие струйки холода сливались в такой ледящий душу поток, что настроение на репетиции было прямо-таки похоронным.

Медведев, напротив, обрадовался такому началу — будет время покопаться в своей роли, оставив на потом лирические парные сцены, хоть они важны, но есть же у него в роли и другие сцены и другие задачи!

Светлана Васильевна, здороваясь с ним, улыбалась, называла Володей, но на «вы». Была внимательна в работе и не более. «Неужели я для нее пустое место?» — думал Медведев. Он ждал от женщины случайно перехваченного пристального взгляда, краски смущения на щеках, вздоха затаенных желаний — всего, что сопровождает невольными проявлениями извечную человеческую болезнь — любовь! — ничего подобного! Она стала чуть веселее, чем обычно, ей нравилась эта работа, а она ко всякой работе относилась серьезно, она делала ее с удовольствием, не вдаваясь в нюансы чувств и взаимоотношений, проводя безусловную грань между жизнью и сценой.

«Я для нее мальчишка! — думал Медведев, — просто мальчишка, она не может даже на секунду представить, что влюблена в такого молокососа, а ведь это так помогло бы работе!»

Он кокетничал с собой и ни за что на свете не признался бы, что просто оскорблен невниманием женщины.

При чем здесь возраст?

Застольные репетиции ему быстро надоели, да и провинциальные театры не балуют себя подобной роскошью — пора было выходить «на площадку». Медведев предвкушал некоторое торжество — «Как-то вы, Светлана Васильевна, будете обнимать меня? А целовать? Как будете проводить

одну из главных сцен — в постели?» У автора это было написано определенно и необходимо для развития сюжета, так что было основание не бояться «вымарки» этих сцен.

По молодости лет он не давал себе отчета в том, насколько его чувства и мысли совпадают с теми, что выявлены в его герое: так же, как Медведев, его герой смотрел на все чуть со стороны, через собственное «я», оттого и проглядел любовь, оттого и случилась трагедия — оставленная, просто брошенная женщина кончала жизнь самоубийством, и это было приговором герою и прочим молодым героям сегодняшнего дня.

Наконец начались репетиции интимных сцен.

Ничего не изменилось.

Светлана, будто примеривая платье у портнихи, деловито и подробно выясняла, где, что будет — куда он положит руку, куда она положит руку, как обнимет его, куда он повернет в это время голову, как она встанет с кровати и как в это время будет полусидеть ее возлюбленный...

И по многу раз, и все без трепета, без смущения, без намека на ускоренное биение сердца.

Единственным отличием от прошлых репетиций было то, что Дроздова просила актеров, не занятых в этих сценах, покидать репетиционный зал...

«Стесняется!» — обрадовался Медведев.

Но скоро вышли на сцену, и она на посторонних перестала обращать внимание — все актеры, кроме него, были для нее посторонними — она была сосредоточенна, строга, деловита, неутомима в повторях и поисках — «а где рука? а голова?»

Первое время Владимир надеялся на чудо, ждал и, помимо желания ловил себя на том, что фантазирует перед репетицией, во что будет одета Светлана Васильевна... Вскоре, думая о ней, он откинул отчество — «какая прическа будет у Светланы на сегодняшней репетиции?»

Эти жалкие фантазии прерывались ее деловой походкой, всегдашним платьем строгого покроя под пояс и пучком волос на затылке — изо дня в день! Она была неуязвима в своей скучности!

Остатки школьных знаний шевельнулись в Медведеве, и он прозвал свою партнершу — «Самум» — считая, что она все иссушила и превратила пьесу о любви в безжизненную пустыню. Он перестал обижаться, когда она не очень ладно и неуютно обнимала его, все поцелуи были отменены — она только прятала лицо у него на груди,—

перестал надеяться на чудо и вновь занялся другими сценами, а эти сцены — встречи влюбленных — пусть идут так, как получатся, они будут обозначением того, что должно быть, и зритель все поймет правильно, если только не предположить невероятное, что женская половина зала будет состоять из женщин, подобных Дроздовой! Но, в конце концов, не для таких же бесчувственных вскаки лились реки крови и поэтических чернил?!

Провинциальные сроки жестки — не за горами премьера.

Шились костюмы, выстраивались декорации, гремела музыка, львишую долю времени отнимали осветители, уверенные, что без их волшебного искусства спектакль провалится, что не мешало им на премьере светить преимущественно в те точки, где актеров не было.

На сцене начались «прогонные» репетиции, и несколько актеров театра, заглянувших в зал, были удивлены, пересказали свое удивление другим, и на следующей репетиции был почти весь свободный состав труппы, разделивший удивление первопроходцев, — спектакль получался!

Спектакль волновал сидящих в зале!

Спектакль волновал актеров! Почти чудо!

Но что скажет хозяин — зритель?!

Медведев вне сцены не замечал Дроздову, пожалуй, по количеству вежливых и равнодушных улыбок при встречах, сравнился с нею. Словом, был установлен прохладный мир без претензий друг к другу, с некоторой меланхолией от несбывшихся надежд со стороны Медведева.

Единственное, что удивляло Владимира, — отношение к нему супруга Светланы — Игоря Михайловича! Он стал не просто холоден. Или холодно вежлив. Он стал демонстративно холоден к Медведеву. Демонстративно. Сухо, поджав губы, здоровался, что называется, «едва раскланивался».

«Что с ним? — думал Владимир. — Ревность? К чему? К роли? Не поздновато ли? К Светлане? Не волнуйтесь, Игорь Михайлович, вы-то хорошо знаете, какова ваша дражайшая, мы так с вашей супругой кастрировали пьесу, что автору икается... Он может на нас в суд подать...»

Ревности Пряничникова к своей молодости Медведев не предполагал именно в силу своей молодости и уж вовсе не знал, что думает о своей «дражайшей» Игорь Михайлович.

Но все это была легкая рябь перед теми волнами цунами, что именуются — Премьерой! Актеры перед спектаклем замирают в полубормочном состоянии, либо становятся моделью вулкана Кракатау накануне извержения — сравнения с природой не случайны, актеры театра, более всех прочих людей, — дети природы.

Премьера всколыхнула город.

Успех был полный и неожиданный для музыкально-драматического театра, где привыкли к смеху, аплодисментам, крикам «браво» и «бисовкам» после удачных номеров. Весь спектакль зрительный зал молчал. Молчал затаенно и глухо. Не падали номерки, не шелестели программки. Буфетчицы жаловались, что впервые за историю театра буфет не имел успеха. В конце спектакля аплодисменты были дружными и долгими, но странно молчаливыми. Была какая-то торжественность и, несмотря на громкие хлопки, она казалась тихой.

Так же прошел и следующий спектакль, и следующий...

Пожалуй, виной тому было то, что зритель истосковался по пьесам подобного рода — о любви, о страданиях от любви, о неудачах любви, — ну и еще немного... чудо театра, не будь которого, за последние несколько тысяч лет театр мог бы исчезнуть много раз.

Театр был переполнен.

Критерием лучших спектаклей было количество «аншлагов» — полных сборов. «Цыганская любовь» — классическая оперетта — дала десять! — и занимала первое место. Для столичных театров, где празднуются порой и тысячные спектакли, десять аншлагов — меньше, чем ничего! — но для провинции они больше, чем «тысячники» столицы!

Когда на новом спектакле в двенадцатый раз зал был переполнен, и стало ясно, что будет еще несколько таких же наплывов зрителя — театр заликовал. Рекорд «Цыганской любви» был безжалостно побит — это в какой-то мере вознаграждало артистов драмы перед опереточными за годы снисходительного отношения и насмешек по отношению к серьезному богу — Дrame!

Директор схватился за голову — куда, в какой город продавать это чудо на гастроли? Его поразила мания величия — по театру прошел слух, что директор приглашает на просмотр Свердловское телевидение на предмет дальнейшего показа для всего Урала! Легковерные были посрамлены — директор не впал в манию величия, ди-

ректор хорошо знал свое дело — Свердловский телецентр купил и показал спектакль! Безумная идея оказалась вполне реалистичной.

В городе спектакль продолжал идти с прежним успехом, перевалив за второй десяток, — по самым скромным подсчетам зрителями этого спектакля в городе стали все, включая грудных младенцев.

Прессы в городе не было, поэтому критика не смогла никого обидеть — каждый мог приписывать успех самому себе, отчего искренне и многократно актеры поздравляли «главных» — Светлану и Владимира, ставших кумирами города на весь сезон! — а для себя каждый находил поклонников, дарящих каждому свою сладкую порцию славы...

«Русский мужик задним умом крепок!» — все работающие на спектакле теперь с удовольствием поверяли труппе, что за всю работу в их маленьком, дружном коллективе не было ни одного срыва, ни одного скандала, ни одного мгновенного романа с кровопусканием, — была работа!

Успех, приятное волнение, заслуженные аплодисменты, отсутствие зависти и горечи как-то сблизили Медведева и Дроздову. Она часто появлялась в театре без надобности, была весела, румянец волнения не сходил с ее щек, она издали приветливо улыбалась Владимиру, но, когда он однажды попытался перейти на «ты», она так же вежливо, как и все, что она делала, посоветовала оставить их отношения прежними.

Именно — посоветовала, даже — как бы посовещалась с ним — «ведь так будет лучше?».

Злые языки?! Вот еще одно и самое главное доказательство необычности этого спектакля — «злые языки» ничего не говорили! Да, да — ни одного худого слова не было сказано ни в адрес Медведева, ни в адрес Дроздовой, ни в адрес других безымянных героев этого спектакля.

Владимир не обиделся на вновь подчеркнутую дистанцию, забыл об инциденте, и тому были причины.

Летом прошлого года Владимир показывался в один из московских театров, понравился, но не было места в труппе и он, ни на что не надеясь, уехал в свою провинцию.

В марте он получил телеграмму с приглашением на работу в столичный театр.

Он не сразу сказал об этом в дирекции — «мало ли что...» — решил известить ближе к концу сезона, поставить перед фактом.

Какими путями и как, то, что известно в театре одному, становится достоянием гласности — загадка, может, виной тому были поклонницы Медведева, работающие на почте, но к нему стали подходить актеры и актрисы театра с таинственными вопросами:

— Навострил лыжи?

Высказывались и более определенно:

— Не забывай нас грешных... в златоглавой!

Владимир отшучивался, но не отрицал категорически такую возможность, рассудив, что будет лучше, если директор узнает об этом исподволь и не от него и привыкнет к этой мысли.

То, что директор будет знать об этих разговорах, не вызывало сомнений — разве мы живем не в одном коллективе? Да и на роль его были претенденты, пока еще не явные, решившие, что уж, если Дроздова смогла сыграть влюбленную и возлюбленную, то уж мне-то сам бог велел сыграть героя!

В коридоре, в часы пересмены между репетициями — Медведев неожиданно столкнулся со Светланой.

— Прошу прощения, Светлана Васильевна, разогнался, не заметил, молодость, глупость, молодо-зелено... — и осекся. Она смотрела прямо в глаза ему, будто не слыша трескотни и глупости.

— Здравствуйте, Володя. Я вас искала.

Это еще более удивило Медведева.

Светлана отступила на шаг, словно разглядывая, опять внимательно заглянула в глаза, засмеялась и открыто и легко спросила:

— Вы уходите из театра?

Она улыбалась и ждала ответа. Он замялся — ему не захотелось ей врать, не захотелось отшучиваться, как с другими, но и говорить правду он не желал — а вдруг начнутся вопросы или, еще хуже — поздравления! — фальшивые и скучные.

— Хорошо, не отвечайте! — продолжала она. — В Москву?

Он снова, мучительно переминаясь с ноги на ногу, промолчал.

— Значит, верно — в Москву! — утвердительно сказала она. — Это хорошо. Это очень хорошо. Да вы и сами знаете, как это хорошо. Поздравляю. Будут уговаривать остаться — не соглашайтесь. Будут сулить горы зо-

лотые — не соглашайтесь. Не смущайтесь, я все понимаю — пока об этом молчок?

Не очень умело она подмигнула ему и пошла прочь легкой спортивной походкой.

Медведев машинально отметил про себя, что она вовсе и не высокого роста, чего он не замечал на сцене, заметил что вокруг глаз много морщинок, чего он тоже не замечал, не разглядел под гримом.

Какое-то смутное неудовольствие осталось после этой встречи, и Медведев никак не мог понять его причины, а когда понял, еще более огорчился.

Светлана стояла так близко от него, что он оказался внутри тончайшего облака каких-то редких духов, и запах их был слишком хорошо ему знаком — этот запах всегда был с ним на спектакле, незримо обволакивал его, создавал маленький мир, далекий от повседневной жизни, искусственный мир искусственной любви... Это был запах духов той женщины, которую он любил, во всяком случае многие верили в это — любил с семи тридцати вечера до окончания спектакля. Медведев считал этот запах достоянием их спектакля и вот оказалось, что это просто духи его коллеги по театру, женщины много старше его, скучной и незнакомой... Ему было грустно! Он-то предполагал, что специально для него, сначала для репетиций, потом для спектакля актриса обволакивается этим облаком — ничего похожего! Бытовуха! Пряничников купил ей бутылку дорогих французских — вот она и демонстрирует! А что спектакль, что жизнь — ей все одно!

Встреча скоро забылась.

Вне стен театра царил весна, в нем самом шли спектакли, но служители храма все чаще говорили не о делах, а об отпуске — куда ехать, с кем, как... Заканчивался очередной сезон, и Медведев пошел к директору.

Тот повертел в руках заявление, для проформы предложил остаться еще годика на два, но не очень настаивал, понимая свою несостоятельность перед весомостью конкурирующей организации:

— Конечно, отпустим... Жаль! Но, если что — всегда рады...

Осталось доиграть несколько спектаклей и в мае проститься с коллегами, ехать искать счастье в огромный город.

Последним спектаклем в его репертуаре должен был стать все тот же «пашумевший» спектакль о любви. Игра-

ли его не в самом городе — «мы же не Токио!» — говорил гордо директор о двадцати четырех аншлагах — играли на выезде в соседнем городе, еще меньшем, со слабой осветительной аппаратурой, с небольшой сценой, где едва разместились декорации.

Это был последний спектакль Медведева — через день он улетал самолетом в Москву, но из «своего» города выезжал электропоездом в шесть утра.

Было грустно и ему и актерам — расставание всегда печально.

Владимир искал какие-то хорошие слова, чтобы сказать им всем, потому что все оказались очень хорошими людьми, ни с кем у него не было ссор, конфликтов, никому он не мешал в театре, и все любили его эти два года. То, что это было не совсем так — не имело значения! Сегодня он думал именно так, бродил по коридорам незнакомого здания, заходил к актерам, что-то несвязное говорил им, выслушивал ответные паузствия и опять бродил, не находя себе места.

В первую очередь он хотел поговорить с Дроздовой, но что-то удерживало его. Он побаивался тревожить ее перед спектаклем, да и не знал, какие дружеские слова сказать ей, чтобы остаться в ее благодарной памяти, — отдав скромности должное место, втайне он был уверен, что успех театра в этом спектакле — его, Медведева, успех! Но Дроздовой нигде не было. Выезжали с запасом, учитывая состояние дорог и автобусов, приехали часа за два до спектакля, и Светлана Васильевна сразу заперлась в примерной и не выходила. Все остальные двери настежь — заходи и разговаривай, а у Дроздовой заперта! Не стучаться же в нее, не напрашиваться!

И Медведев смирил добрый порыв, щедрое движение души и с трудом убил оставшиеся полчаса — все были заняты гримом и костюмами, а он играл в своем, и гримироваться ему пока не было необходимости.

Начался спектакль.

Начался, и с первых фраз Светланы Дроздовой Медведев почувствовал, что происходит что-то непонятное, не такое, как всегда. Почувствовал и стал находить тому материальные подтверждения — голос Светланы звучал непривычно глухо, но и непривычно же искренне! — будто человек устал притворяться и заговорил своим нормальным голосом.

Казалось, она позабыла все слова роли, тут же иска

ла другие. чтобы выразить то, что мучило ее, находила самые точные, самые верные, и это оказывались те же самые слова — десятки раз произнесенные и столько же раз слышанные, но сегодня они звучали заново — они рождались заново, здесь. в убогом театральном здании.

До главной сцены объяснения в любви герой и героиня не встречались, и Медведеву не довелось увидеть Светлану вблизи, чтобы понять, что произошло, он слышал только ее голос, да краем глаза — из-за кулис, но этот голос заставил его прислушиваться к неожиданным интонациям, прислушиваться и заражаться мукой страдающего человека, так он был выразителен.

За кулисами он прилег на тахту, ее с помощью фурки в темноте вывезли на сцену, Дроздова на ощупь подседа к нему, зажегся свет, и Медведев растерялся — она не ушла от него, как всегда было в спектакле, к туалетному столику, откуда он окликал ее, и начиналась сцена, — нет, она продолжала сидеть рядом с ним. Сидела и смотрела на него.

Глаза — полные слез, на лице — полуулыбка, полугримаса.

Вяло, словно во сне, подняв руки, она освободила волосы стянутые на затылке, и ему на грудь пролился невесомый пепельный поток. Она потрогала кончиками пальцев его лоб, веки и только потом отошла к столику, отошла, не сводя с него глаз. Не сразу началась сцена — Владимир так растерялся, что сам иначе, чем всегда, не окликнул ее — а тихо позвал!

Все другие сцены были такими же — и все было не так — все осталось прежним — текст, мизансцены менялись едва заметно, но все было не так, как на прошлых спектаклях. Не было спектакля — Светлана Дроздова словами героини признавалась в любви. Но ей казалось этого мало, ей казалось, что словам одним не поверят, и она делала героические усилия, чтобы доказать самое простое и великое — я люблю. Я, я, Светлана Дроздова, а не какая-то выдуманная героиня!

Она была предельно искренна и жалка и не скрывала этого, она умоляла о любви и не стыдилась своей незавидной роли.

Неумело она обнимала Владимира, обнимала беспомощно откровенно, словно прося защиты, сдерживая рыдания. Он чувствовал, как вздрагивает ее тело, бережно, но крепко обнимал ее, и она затихала у него на груди.

Его рубашка стала мокрой от слез.

Она целовала его. Впервые за все спектакли целовала, нарушив придуманные замены, целовала там, где у автора была ремарка — «целует» — она помнила их все! Она целовала Медведева так, что он порой не соображал, где он и что с ним происходит — только оставалось естественная человеческая стыдливость — «Ну зачем же так, при посторонних — при всех!»

Спектакль в этот раз не имел успеха.

Мало хлопали в зрительном зале, шуршали программами, быстро разошлись.

Случись такое в день премьеры, диагноз был бы точен и справедлив — полный провал!

Причина была, может быть, в том, что зритель — безликая публика, чуткая, как паутинка, на всякое дуновение, как только дело касается лично каждого сидящего в зале, а кого же не касается любовь? — так вот зритель понял, что это не игра в любовь, это она — подлинная! — а видеть такое простому смертному, нормальному смертному, если он не одно из действующих лиц, всегда щемяще неловко?!

Может быть, в этом была причина провала, может быть...

Актеры хранили молчание — огорченно и обидчиво, словно у них отняли что-то дорогое, но было и недоумение и причастность к чему-то запретному — актеры стали зрителями, и они поняли все, что видели на сцене!

Медведев подошел после спектакля к гримерной Дроздовой.

Он не мог не пойти к ней, сила более властная, чем разум, вела его к ее двери.

Тихо постучал. Не получив ответа, будто имел право, открыл скрипучую дверь, вошел и затворил ее за собою, прислонился к косяку.

Светлана сидела у кривого облупившегося зеркала, не разгримировавшись, не переодевшись, повернула к нему лицо — она ждала его, вернее, вправе была ожидать, что он зайдет. Глаза ее были красны от слез, волосы спутаны и неловко замотаны в пучок на затылке. Она не скрывала — она подчеркивала свой возраст. Молчала.

Ее глаза не выражали ничего, кроме усталости. Медведев понял, что не может сказать ни единого слова, все они оказались пустыми и мелкими, он был так ошарашен происшедшим, что даже не очень понимал, зачем пришел к ней, знал только, что не прийти не мог.

Много противоречивых чувств боролось в нем, много в нем было всего, кроме жалости к ней, и это давало ему право тоже молчать.

Стоять у двери и молчать, и не уходить.

Жалость она не простила бы, пустые слова не простила бы,— молчание она прощала.

— Иди, Володя, скоро автобус подадут...— и она отвернулась к зеркалу...

Обычный говор в автобусах после выездных спектаклей, когда идет состязание в анекдотах, забавных историях и сногшибательных приключениях,— в этот раз даже не возник. В полном молчании железная коробка по неровной дороге ночью везла актеров домой. Везла актеров, уставших и измученных,— сегодня устали все!

Эту ночь Медведев плохо спал.

Не зажигая света, вставал, натыкаясь на мебель, закурировал и подолгу стоял у окна.

«Как нелепо, как глупо все в этой жизни!»— думал он, но что глупо и нелепо в этой жизни, он не мог объяснить себе.

С утра он кое-как доделал то, что откладывал на последний день перед отъездом — сдал книги в библиотеку, перетащил к своему приятелю обещанные два стула и кастрюлю и пошел в театр.

Завтра утром он уедет из этого города навсегда, именно — навсегда,— сегодня он должен проститься с ней, хотя бы увидеть...

Он шел к театру, бессознательно твердя ее имя.

Волнение, доселе незнакомое ему, охватывало его и, входя в театр, он знал, что она там. Он никого не встретил, ни с кем не говорил, никого не расспрашивал, но он знал, что она в театре. Она должна быть в театре. Она обязана быть в театре.

Постояв в пустом коридоре, будто прислушиваясь к себе, он вдруг стремительно пошел к фойе. Зачем? Он не смог бы ответить на этот вопрос. Что-то вело его.

Она была там.

Фойе, гулкое и пустое, приютило только ее. Да и во всем театре никого не было — так казалось Владимиру. Она сидела на банкетке с вытертым плюшем, поставив на колени сумочку.

Он подошел. Встал напротив нее. Она сидела не подни-

мая головы, хотя он стоял так близко, что она могла видеть носки его ботинок.

— Вы ждали меня? — неожиданно спросил он, еще мгновение назад уверенный, что обратится к ней на «ты» и назовет ее таким красивым именем — Светлана.

Она подняла к нему лицо, улыбнулась, провела по своим волосам рукой.

«Так же, как на спектакле, когда распускала волосы...» — подумал Владимир.

Она поднялась и сказала ему:

— Нет. Я никого не ждала.

И ушла своей легкой походкой. В этом не было кокетства, не было приглашения следовать за нею, она сказала то, что хотела, и сделала то, что хотела — ушла.

Медведев растерялся. Ему стало одиноко и больно, словно его публично унизили. Он порвал все нити, связывающие его с этим городом, с его людьми, и вот рвалось что-то новое, что возникло в этом городе и что он должен, как драгоценную память, увезти с собой, какое-то открытие, приобретение, что-то очень серьезное для его будущей жизни, но все рвалось — все уже оборвалось, разрушилось!

Оставшийся после нее запах духов раздражал его, все раздражало — и то, что он торчит в пустом и мрачном фойе, и то, что не знает, куда ему бежать, и то, что не может понять, почему она ушла и куда она ушла...

Только на улице он немного пришел в себя и огляделся — может, она где-то здесь, вблизи театра?!

Площадь и прилегающие улицы были пусты, как и фойе театра, — безлюдный день!

Медведев ходил по приятелям, прощался, нигде не задерживаясь, ссылаясь на уйму предотъездных дел, уходя от одних — спешил к другим, — только бы не остаться одному, только бы чем-нибудь заполнить эту гулкую пустоту, что гудит в его голове.

Когда стало смеркаться, он пришел к ее дому.

К ее окнам на втором этаже — он даже не мог вспомнить, когда и как он узнал, что это ее окна!

Окна не светились, значит, хозяев не было дома. Ну, что ж, он дождется, сколько бы ни пришлось ждать, он не может уйти от ее дома... Он увидит ее, когда они придут домой, неважно, что придут «они» — увидит он только ее. Для него это стало важным, необходимым — стало наваж-

дением — увидеть ее, когда они будут подходить к дому, а потом — в окне.

Увидеть ее!

Это был приказ свыше, послушаться которого он не мог, — ты должен увидеть ее и тогда...

Что тогда? Что-то решится? Но что? Кем решится?

Все эти вопросы были одним — огромным вопросом, даже не сформулированным, а как бы завладевшим всем его существом и лишившим воли.

Его поезд отходил в шесть сорок пять утра и другого в течение дня не было.

В пять утра он пришел к своему дому. Свет в ее окне так и не загорелся, значит, хозяева не ночевали дома, загостевались.

Он был разбит, измучен, опустошен. От выкуренных сигарет во рту осел горький, казалось, неистребимый осадок.

Перед своей дверью он остановился. В щель, рядом с замком, был вставлен аккуратно сложенный листок.

Он вырвал его резко, чуть не располозовав, быстро развернул:

«Вот и не смогли проститься... Жаль...»

Подписи не было.

СОДЕРЖАНИЕ

- 3** **На озере Таватуй**
- 32** **Несыгранная роль**
Степана Денисова
- 59** **Афиши, обещающие его**
- 78** **Рисунки, сделанные гримом**
- 121** **Урок чистописания**
- 136** **Последний спектакль**

Шурупов В. И.

Ш96 **Рассказы провинциального актера: Рассказы.—**
М.: Современник, 1989.— 157 с.
ISBN 5—270—00441—0

«Рассказы провинциального актера» — книга, написанная человеком, много лет проработавшим на сцене. В ней ярко передана жизнь небольшого театра на Урале с ежемесячными премьерами, постоянными спектаклями на выездах, с неустроенным подчас бытом в актерских общежитиях...

Читатель не найдет здесь расхожих театральных анекдотов, ибо В. Шурупов занимает, главным образом, судьбы конкретных людей, беззаветно преданных искусству, с которыми он начинал свой нелегкий актерский путь.

Ш **4702010200—213**
М106(03)—89 **101—89**

ББК 84Р7

Литературно-художественное издание

**Шурупов
Владимир Иванович**

**РАССКАЗЫ
ПРОВИНЦИАЛЬНОГО АКТЕРА**

**Редактор О. В. Кугук
Художник Н. Н. Стасевич
Художественный редактор А. В. Дианов
Технический редактор Е. А. Васильева
Корректор Г. В. Селецкая**

ИБ № 5266

**Сдано в набор 2.12.88. Подписано к печати 29.06.89. Л 04229. Формат
84×108¹/₃₂. Гарнитура т. Бодони. Печать высокая. Бумага тип. № 1
Усл. краск.-отт 8,82. Усл. печ. л. 8,4. Уч.-изд. л. 9,11 Тираж 50 000 экз.
Заказ 4014. Цена 90 коп.**

**Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам
издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62**

**Республиканская ордена «Знак Почета» типография им. П. Ф. Леохина
Государственного комитета Карельской АССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли.
185630, Петрозаводск, ул. «Правды», 4**

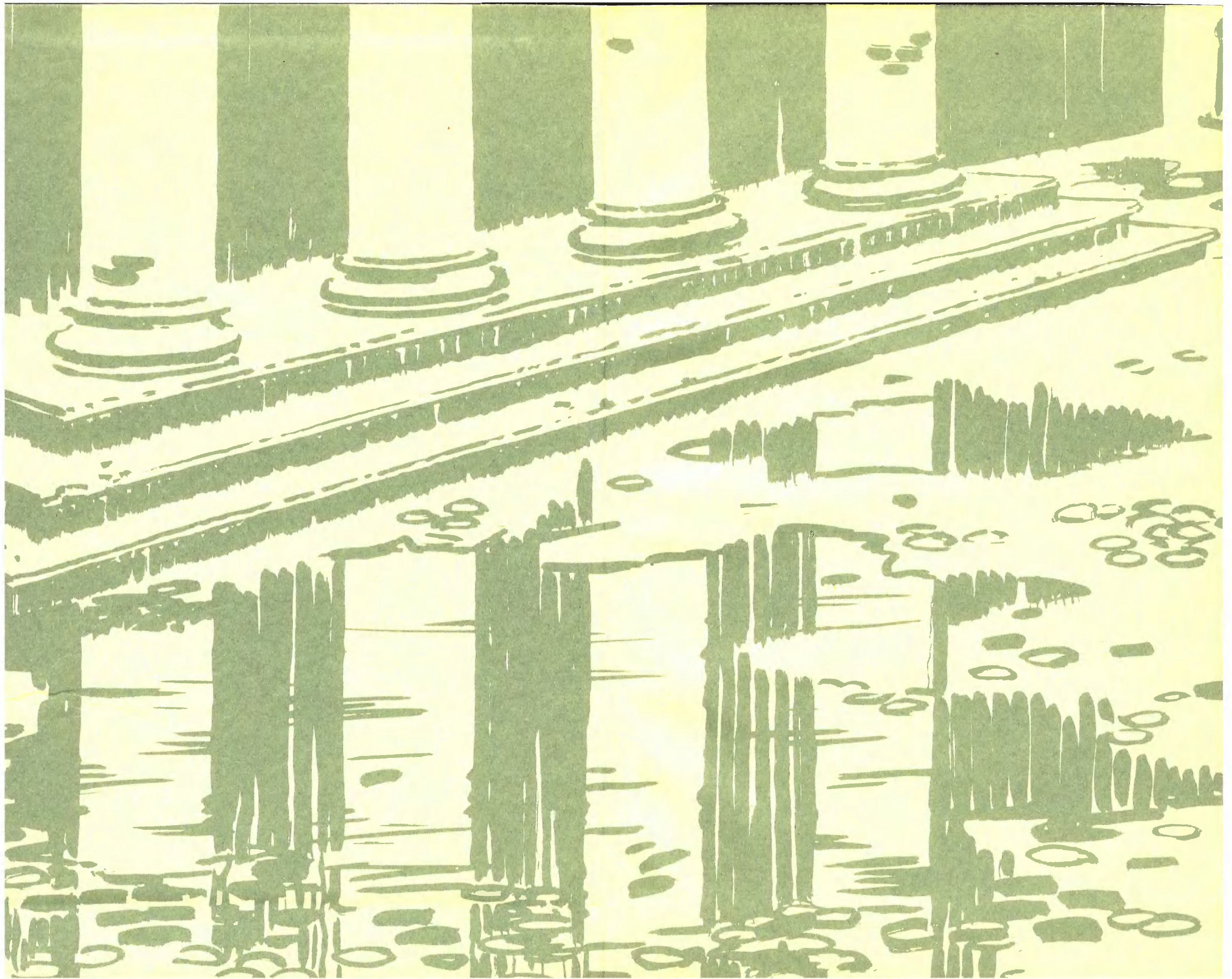
**В 1990 ГОДУ
В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «СОВРЕМЕННОК»
ВЫЙДУТ В СВЕТ
СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ:**

- А. Борщановский «ИЗ ПЛЕНА ЛЕТ»**
А. Жуков «ВЫСОКО В НЕБЕ ЛЕБЕДИ»
А. Знаменский «КРАСНЫЕ ДНИ»
**В. Курочкин «ЗАПИСКИ НАРОДНОГО СУДЬИ
СТЕПАНА БУЗЫКИНА»**
В. Маканин «РАССКАЗЫ»
Б. Можяев «ИЗГОЙ»
Ю. Нагибин «ИЛЬИН ДЕНЬ»
В. Пикуль «СТАЛИНГРАД»
Б. Пильняк «КРАСНОЕ ДЕРЕВО»

**В 1990 ГОДУ
В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «СОВРЕМЕННОК»
ВЫЙДЕТ В СВЕТ КНИГА
ВАЛЕНТИНЫ КУЦЕНКО
«РАССКАЗЫ ДЛЯ ОЖИДАЮЩИХ».**

Автор сборника — киноактриса, снявшаяся более чем в тридцати фильмах («Звезды на крыльях», «Последние залпы», «Сколько лет, сколько зим» и другие). Одинаково уверенно пишет В. Куценко и о минувшей войне («Ксенофонт», «Крылатые молнии», «Почерк», «Консультант»), и о людях сегодняшнего дня — о неожиданных счастливых встречах, о любви, о семейном счастье и о временах, давным-давно прошедших — о дочери боярина Кучки, заложившего по преданию град на реке Москве, мудрой Улите Степановне, которая сумела достойно заменить отца при возведении этого града.

Сборник населен людьми разных времен, характеров и стран, но всех их объединяет одно: стремление изменить мир к лучшему.





ВЛАДИМИР ШУРУТОВ



• **СОЗРЕМЕНЬИХ** •